

БЕССОННИЦА

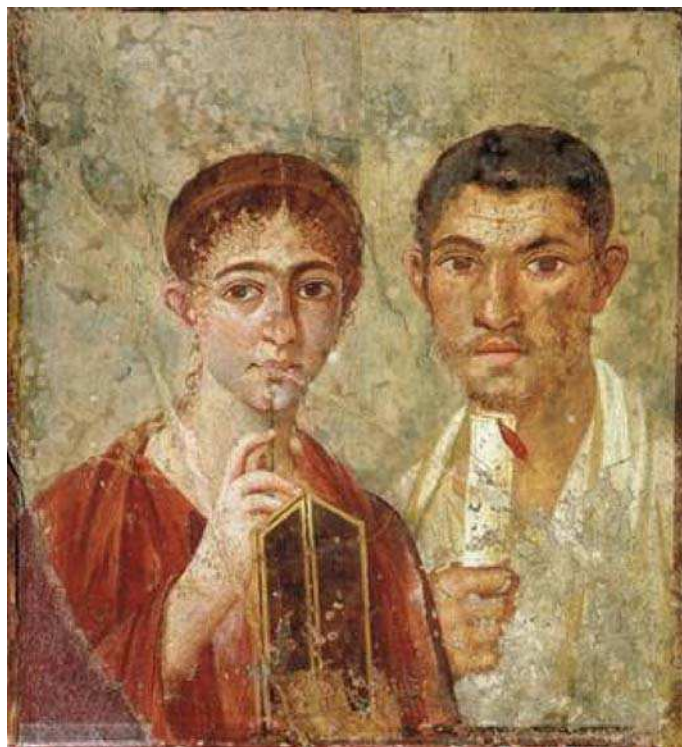
Ἀδελφεῖ Ἐταῖοι ἀί

Β ἀδελφάί ἀαεσίψ ἀίτοίεαίαιε

Ἐαὐτοῦφ ἱτοίεε δία

Б. Пастернак,
«Второе рождение»

Непонятно, что делать с философией. Она дисциплинирует ум (особенно ум историка). Но больше она не делает ничего. Она попросту не оправдывает ожиданий. Попробуйте почитать Деррида, Хайдеггера, а еще лучше – «Феноменологию духа» Гегеля. Вы ощутите радостное предчувствие надвигающейся истины, мгновенного раскрытия тайн. Но фокус редко удается, и тем менее удается – чем сильнее и круче замах, чем волшебнее стиль философа.



Может быть, причина разочарования – природная близость философии к поэзии и мифу. Сам философский Логос поэтичен, подобно голым конструкциям грандиозного здания. Как писал Мандельштам, «сознательный смысл, Логос, до сих пор ошибочно и произвольно почитается содержанием. От этого ненужного почета Логос только проигрывает... Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов». В чем же красота Логоса? В загадочности, которая и рождает ощущение тайны. Но есть ли смысл позади красоты, по ту сторону бытия, за пределами текста?

«Мы спим полночи и полночи занимаемся Торой. Когда же мы встаем поутру, запахи поля и потоки вод освещают нам Тору, так что Тора утверждается в нас». Полночи меня мучает бессонница, и я читаю главную книгу каббалы, Зоар. Монотонное звучание арамейских глаголов, игра слов, где «потоки вод» – наарей, а «освещают» – наарин. Весь мир предстает одним огромным текстом. Зоар напоминает сразу и диалоги Платона, и книгу Сервантеса. Мудрецы путешествуют из деревни в деревню, останавливаются на постоянных дворах, отдыхают в тени деревьев и толкуют Тору. В дороге им встречаются странные существа – дети и простолюдины, знающие тайны Торы. Здесь философский Логос не у себя дома, здесь он гостит на постоянном дворе.

Греки считали сон братом смерти. Если додумать эту мысль до конца, то бессонница окажется сестрой жизни. Бессонница – почти что жизнь, жизнь, не способная выйти на улицу и действовать. Что заботишь ты меня, сестра моя жизнь? Написано: «Скажи мудрости, ты сестра моя» (Мишлей, 7:4). И еще сказано: «Скажи же, что ты сестра моя, дабы хорошо мне было ради тебя и дабы душа моя жива была через тебя» (Берешит, 12:13). Кем сказано? Аврамом, который потом стал зваться Авраам. Когда спускался Аврам в Египет, то сказал эти слова жене своей Сарай, которая потом стала зваться Сарой. Есть два смысла у этих слов. По простому смыслу, сказал так Аврам, потому что боялся, что египтяне отберут Сарай, а его самого убьют. По глубокому же смыслу, явленному в Зоаре, сказал Авраам эти слова Шхине, женской стороне Б-га, десятой из Сфирот, называемой также Царством. И образ ее перекликается с Десятирицей из устного, тайного учения Платона, унаследованного неоплатониками. «Дабы хорошо мне было ради тебя, и дабы душа моя жива была через тебя», ведь Шхина ведет к жизни.

Если греки считали сон братом смерти, то рабби Ханина бар Ицхак называл сон «ослаблением», подобием смерти. Так, подобие пророчества – сновидение, а подобие будущего мира – суббота. А рабби Авин добавил: «Подобие горнего света – солнечный диск, подобие горней Премудрости – Тора» (Берешит раба, 17:5).

Бессонница – «ослабление» жизни и подобие мудрости. «Парки бабье лепетанье, спящей ночи трепетанье, жизни мышья беготня...» Бессмысленно думать ночью о жизни, об утраченном дне, но можно думать о текстах, которые заменяют и замещают жизнь. Вместо тайн жизни – тайны текста (по ту сторону текста, по ту сторону бытия) просвечиваются в полутьме. Например, можно угадать тайный источник одной истории. Ее явные источники известны – это Плач Ирмеяу (Эйха) и книга пророка Йоэля. О тайном же источнике надо поразмыслить. Рассказана эта история в сборнике мидрашей Эйха раба, то есть в позднеантичных толкованиях на книгу Плач Ирмеяу. Пророк Ирмеяу в Эйха (1:16) говорит: «Об этих я плачу». И история в Эйха раба должна поведать нам, о ком он плачет. Но имеющие глаза и уши узнают иной текст и вспомнят слова Песни песней (Шир а-ширим; 4:9; 8:1): «Пленила ты меня, сестра моя, невеста...» – «О, если бы ты был мне брат, сосавший грудь матери моей, встретила бы я тебя на улице, целовала бы тебя, и не срамили бы».

Вот случай с детьми первосвященника Цадока, мальчиком и девочкой, что попали в плен. Мальчик попал к одному легионеру, а девочка – к другому. Один легионер пошел к блуднице и отдал ей мальчика, другой пошел к кабатчику и отдал ему девочку за вино, дабы исполнилось прочитанное: «И отдавали мальчика за услуги блудницы, а девочку продавали за вино и пили» (Йоэль, 4:3). По прошествии дней пришла блудница к кабатчику и сказала ему: «Мальчик, который есть у меня, стоит девочки, что есть у тебя. Давай поженим их, а приплод поделим». Согласился кабатчик. Привели их и заперли в комнате. Начала девочка плакать. Сказал ей мальчик: «Почему ты плачешь?» Сказала ему: «Как же мне не плакать? Я, дочь первосвященника, стану женой раба?» Сказал ей:

«Чья ты дочь?» Сказала ему: «Цадока, первосвященника». Сказал ей: «А где вы жили?» Сказала ему: «На Верхнем рынке». Сказал ей: «А какой знак был на том доме?» Сказала ему: «Такой-то знак». Сказал ей: «А были ли у тебя брат или сестра?» Сказала ему: «Был у меня один брат, и была у него одна родинка на плече. И когда он приходил из школы, я открывала ее и целовала ее». Сказал ей: «Если ты увидишь эту родинку, узнаешь?» Сказала ему: «Да». Открыл он плечо, узнали они друг друга, обнимались и целовались, пока не отлетели их души. И Дух Святой вопиет и гласит: «Об этих я плачу»».

(Yéōā 1:16)

«Пленила ты меня, сестра моя, невеста...» – «О, если бы ты был мне брат, сосавший грудь матери моей, встретила бы я тебя на улице, целовала бы тебя, и не срамили бы». Дети Цадока, жених и невеста, брат и сестра, сосавшие грудь одной матери, целуют друг друга и умирают. Ведь этот мир, говорят нам мудрецы, – коридор на пути в палату, ночь перед рассветом. И есть знаки окончания ночи: «первая стража – кричит осел, вторая стража – лают псы, третья стража – младенец сосет материнскую грудь и шепчется женщина с мужем своим» (Брахот, За). Или сестра шепчется с братом своим. Младенец этот, конечно, – Машиах бен Давид, царь иудейский, которому предстоит родиться на исходе бессонной ночи. Мессия.

Кто же те брат и сестра, которым позволено целоваться и обниматься? Другой мидраш (из толкований на Шир а-ширим) говорит нам, что сестра жила в Гуш-Халаве (Гискале), а брат – в Мероне, неподалеку.

Вот случай с братом и сестрой. Он жил в Мероне, а она жила в Гуш-Халаве. Случился пожар в доме брата в Мероне. Сестра его пришла из Гуш-Халава и начала обнимать его и целовать его, говоря: «Это не бесчестит меня, ведь брат мой был в беде и спасся!»

«Скажи Мудрости, ты сестра моя, и назови Разум родным» (Мишлей, 7:4). А о Мудрости (Хохма) и Разуме (Бина), каковы они и что скрывается за их именами, мы не будем здесь говорить.

НЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ?

Агдей Ёей

Друзья! Вынужден с глубоким прискорбием сообщить, что после тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, в России скончался «межрелигиозный диалог». Предлагаю почтить его память минутой молчания... Спасибо. А теперь задумаемся, какой именно недуг поразил его, а главное – как мы теперь обойдемся без дорогого «покойника»?



Начнем с «истории болезни». Двадцать лет назад в России начался бурный рост религиозного возрождения. Религиозные деятели из изгоев превратились в желанных гостей в высоких президиумах, в средствах массовой информации, даже среди народных депутатов. К сожалению, религиозное возрождение не могло идти без побочных эффектов. Дело в том, что религия, любая, претендует на исключительное обладание истиной. А такая претензия обижает последователей иных вероучений. В силу этого возникает проблема терпимого отношения к иноверцам. Иначе – беда. До чего может пойти религиозный конфликт, мы все видели по телевидению: война в Югославии яркий тому пример. В России этот пожар запылал на Кавказе. Там, как выражаются люди политически корректные, военные действия устроили «псевдорелигиозные экстремисты».

Вот тогда в России заговорили о межрелигиозном диалоге. Раввины, имамы и православные священники ходили друг к другу в гости, называли друг друга «достопочтимыми братьями» и призывали свою паству не резать друг друга, несмотря на различия в вере, потому что традиционные российские конфессии всех учат «одному только добру». Такая вот была благостная картинка. Ее показывали по телевидению. Властям очень нравилось. Они, власти, гордо демонстрировали ее иностранным коллегам: у нас тут и диалог цивилизаций, и никаких религиозных войн. Как в анекдоте, «поучитесь, мол, кретины, как это делается»... Все было очень красиво, все были довольны. Отплясывая этот номер для властей, религиозные деятели получали материальные выгоды

в виде недвижимости, или, по крайней мере, разрешений на ее возведение. Ордена получали. А чтобы диалог шел интенсивнее, создали Межрелигиозный совет России (МСР). С этим советом тоже вышел анекдот. Помните, жопа есть, а слова такого нет. С МСР получилось так: слово-то есть, а вот главного нет.

Дело в том, что, если в одном помещении соберутся раввин, имам, священник и лама, они, конечно, будут разговаривать. Но их беседу не следует считать межрелигиозным диалогом. МСР стал неким подобием профсоюза служителей культов. Он выступал с инициативами по вопросам налогообложения религиозных организаций, регистрации общин в государственных органах. Понятно, что налоги должны быть поменьше, отчетность попроще. Тут духовные лидеры легко приходили к консенсусу. Не было у них и разногласий в отношении безнравственного телевидения и ужасных педерастов, периодически пытающихся устроить свой парад в столице нашей Родины. Террористов тоже осуждали, хотя тут уже было сложнее, поскольку у евреев и мусульман разные представления о том, кто такие террористы и кто, собственно, виноват в убийствах мирных людей. Учитывая разницу во взглядах, МСР осуждал террористов вообще. Без конкретных привязок.

Вот это нежелание обсуждать конкретные религиозные разногласия и стало причиной тяжелой болезни «межрелигиозного диалога».

По мере того как религиозное возрождение охватывало страну, а люди начинали заходить в храмы не только ради организации свадеб, обрезаний, крестин и похорон, но читать богословскую литературу, у них стали появляться вопросы. Причем именно религиозного характера. Причем фундаментальные. Например, в одного ли Б-га верят иудеи, христиане и мусульмане?

А почему столько ограничений на общение с иноверцами было наложено в древности? Как относиться к древним трактатам, авторы которых не отличались корректностью? Вопросы эти ставились с непримиримостью, свойственной неопитам. А МСР в столь сложные проблемы упорно погружаться не хотел. Теперь говорят, что не хотели разжигать старые конфликты, копаться в прежних обидах. По мнению некоторых экспертов, это лишь разжигало бы ксенофобию среди последователей разных конфессий. Я с такой оценкой не согласен. Смысл любого диалога – в преодолении конфликтов, в их врачевании. А не в сокрытии. Плохих вопросов не бывает, бывают плохие ответы. И самый плохой – молчание. В итоге в среде православной и исламской общественности стали появляться радикалы, прямо обвинявшие своих духовных лидеров в предательстве веры.

Русская православная церковь первая сформулировала свою позицию. Целью межрелигиозного диалога было объявлено решение социальных проблем. Но тут как раз и возникла социальная проблема – преподавание основ православной культуры в школах. И никакого решения в рамках Межрелигиозного совета найдено не было. Евреи и мусульмане одобрить новый предмет отказались наотрез. Евреи и мусульмане заявляли, что такие уроки будут нарушением прав меньшинств, и точка. Аргументы о культурологическом характере предмета никто услышать не хотел. Объяснять, а почему, собственно, в угоду страхам меньшинств большинство должно пожертвовать своими правами, тоже не стали.

Эта история показала, что никакого диалога у нас не было. А теперь не осталось даже его видимости. Ведь евреи не желали обсуждать ни учебники, ни программы, ни методические пособия, по которым православные собирались учить детей. А ведь это и

должно было стать ключевой темой дискуссий, поисков взаимоприемлемых компромиссов, реального мирного сосуществования различных вероучений. Словом, МСР сломался при первом же серьезном, настоящем испытании. Духовные лидеры показали, что терпимостью, о необходимости которой они так долго говорили, они и сами не обладают.

Конечно, не одни евреи несут ответственность за несостоявшийся диалог. Но за соучастие в его имитации безусловно несут, наравне с остальными. А еще важно понять, что от провала пострадают более других. Дальше каждый свои проблемы, в том числе и с властями, и с обществом, будет решать самостоятельно.

Русской православной церкви это будет делать проще. Православных в стране абсолютное большинство. В условиях экономического кризиса и надвигающейся политической нестабильности моральная поддержка православной церкви будет нужна властям в первую очередь. На втором месте – мусульмане. Евреев мало. По самым оптимистичным оценкам еврейских организаций, евреев – миллион. Но по данным переписи 2002 года – всего 230 тыс. Опыт последних лет показывает, что власти не склонны прислушиваться к запросам столь малочисленных религиозных общин, да еще в тех случаях, когда они так или иначе дерзят доминирующей Церкви. Пример тому – отношение к католикам и протестантам. Последние сейчас бурно возмущаются назначением известного сектоборца Александра Дворкина председателем религиозно-экспертного совета при Минюсте. Протестанты были главной мишенью его деятельности, и в этом кадровом решении трудно не увидеть намека. Равно как и в подчеркнута холодной реакции чиновников на протесты еврейских организаций в связи с высылками из России раввинов-иностранцев.

Фактический развал Межрелигиозного совета лишил еврейские общины мало-мальской «профсоюзной» защиты. Сейчас уже не секрет, что из-за кризиса объем пожертвований религиозным организациям резко сократился. По причинам уже вышеназванным власти собираются поддержать Русскую православную церковь. В Госдуме и правительстве обсуждается закон о передаче религиозным организациям под уставную деятельность государственной и муниципальной собственности. Речь идет о зданиях и земле. Государство, обеспокоенное проникновением в страну чуждых исламских проповедников, создало для финансирования мусульманских учебных заведений и книгоиздательской деятельности специальный фонд. А вот про помощь еврейским общинам пока ничего не слышать. Но нехватка финансов – не самое неприятное.

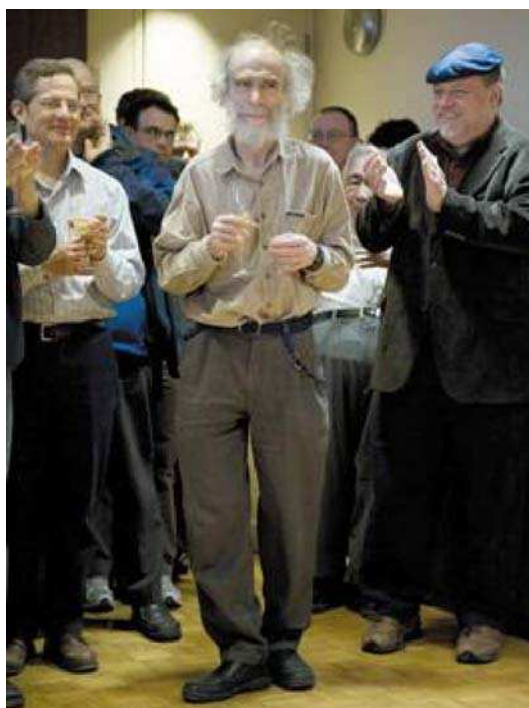
Гораздо хуже, что никто больше не собирается обсуждать мировоззренческие проблемы. Чем тяжелее ударит кризис, тем больше людей будет обращаться к религии. В момент трудностей так бывает всегда. И тогда с неизбежностью восхода солнца выплывут все противоречия. И религиозный антисемитизм, присутствующий в книгах средневековых проповедников. А время, которое было дано на осмысление всех этих писаний, на поиск ответов, на урегулирование давних споров и отказ от проклятий, уже упущено. Окно возможностей закрылось. Партнеров среди представителей других конфессий у евреев не осталось. Пожар, которого так боялись, но для тушения которого ничего не приготовили, теперь может вспыхнуть. Если только общее равнодушие в сочетании с заботой о хлебе насущном не окажутся сильнее тяги к брошюрам и сайтам «псевдорелигиозных радикалов», где всегда есть рецепт спасения России. Какой именно? Думаю, цитировать нет надобности.

НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ

Éáí èä Dääçèõíáíèé

Не так давно случилось происшествие, которое никто не заметил.

Михаил Леонидович Громов получил премию Абеля.



Премия Абеля – высшая математическая награда в мире, точный аналог Нобелевской (математикам, как известно, Нобелевскую премию не присуждают). Решение принимает Норвежская академия наук и искусств по предложению Международного комитета, премию вручает король Норвегии (кстати, размер премии в этом году – чуть меньше 1 млн долларов).

Премию присуждают с 2003 года, всего лауреатов – включая Громова – 9. Громов – первый лауреат «из России», третий лауреат – еврей.

М.Л. Громов, 1943 года рождения, выпускник Ленинградского университета, эмигрировал в 1974 году. Сейчас этот гражданин Франции и РФ, академик Французской АН и Национальной АН (НАН) США, лауреат 12 (!) международных математических премий – постоянный сотрудник французского Института высших исследований. Кстати, в Институте всего шесть постоянных сотрудников, из них три – из России. Кроме Громова – М. Концевич, 1964 года рождения и Н. Некрасов, 1972 года рождения. Концевич – также академик АН Франции и лауреат высших международных премий, а Некрасов считается одним из самых талантливых молодых математиков в мире.

Я, неспособный выговорить название ни одной из работ Громова, никак не могу – находясь в трезвом уме – испытывать «национальную гордыню», ощущать себя «со-

лауреатом» его премий. Не могу – ни в качестве еврея, ни в качестве гражданина РФ. Негр, гражданин Кении, имел бы к нему и его работам точно такое же отношение, как я.

Итак, речь не о гордости – ее нет. Нет и «обиды за державу»: если державе не нужны Громов, Концевич, Некрасов, если с нее хватает Жириновского и депутатов от «ЕР», то что ж «обижаться» за (да и на) такую державу! Туда, как говорится, и дорога...

Но – без всяких эмоций – хочу привести еще несколько любопытных фактов.

Прежде всего – о евреях.

«Евреи – это то, что мы делаем из них» (Сартр).

Звучит немного обидно, но смысл в том, что евреи очень пластичны, прекрасно приспосабливаются к любым переменам климата.

В 1940–1970-х годах в СССР была востребована Большая Наука. Причины очевидны: и собственно военно-промышленные, и престиж Империи, и традиционное, еще от Ленина идущее уважение «к науке». И в стране была сильная (входящая в четверку сильнейших, наряду с США, Англией, Францией) математическая наука, была очень сильная теоретическая физика. Велика ли была роль евреев? А что заниматься пустыми спорами – обратимся к фактам. Евреи – лучшие физики и математики – уехали. Что осталось от науки? Конечно, уехали не только евреи, но все-таки эмиграция евреев была особенно тотальной.

Сейчас среди евреев – членов Российской АН (РАН) 9 от 90 лет и старше (кстати, один из них – «великий Гельфанд» тоже эмигрировал) и 7 моложе 70 лет (из них самому «юному» 58). Конечно, вся академия немолода, но, безусловно, соотношение возрастов в целом по РАН совсем другое. Кстати, большинство этих «молодых» – евреи только «наполовину». И главное, не в обиду им будь сказано – нет среди них ученых, сопоставимых с тем же Громовым или членами НАН США – Поляковым (член АН Франции, крупнейший физик-теоретик), Варшавским (лауреат десятка премий, молекулярный биолог), Маргулисом (лауреат высших международных премий, математик).

Громов, Поляков, Варшавский, Маргулис – почти ровесники, им от 62 до 65 лет. Они могли создать научные школы в России, продолжить традиции Ландау и Гельфанда. Одни бежали от госантисемитизма в 1970-х, другие – от развала науки в перестройку... Сейчас они с учениками дают научный озон Западу.

А в России востребованы – кто? ТВ-юмористы, олигархи, политтехнологи. Что ж – евреи и тут рады помочь России чем могут...

Каждой стране – свои евреи.

ПРАВДА ВНУТРЕННЕЙ СУТИ

Ī ādē Ōādē ōīīfā

Имя Александра Гольдштейна было у меня на слуху с 1997 года, когда он получил премию «Антибукер» за книгу эссе «Расставание с Нарциссом». С тех пор, однако, он так и оставался для меня одним из многих писателей, которых надо бы почитать, да руки все не доходят. Мы ленивы и нелюбопытны, как справедливо заметил классик.



А. Гольдштейн в редакции израильской газеты «Вести». Тель-Авив. 1998 год

Не так давно добрая приятельница, тратящая в книжных магазинах изрядную часть своей пенсии, передала мне за ненадобностью купленную ею книгу «Аспекты духовного брака». Открыл – и с первых же страниц, что называется, ахнул. Какая свобода и глубина, какая пристальность взгляда! Емкий, не без барочных излишеств, стиль, густые до вязкости фразы приходилось порой мысленно развертывать, а то и расшифровывать, усваивая не сразу, – но каким благодатным оказывалось для читателя усилие, как питателен был этот – не поток мысли – ток напряженной энергии! Редкостная эссеистика! Личность автора, проступавшая из текстов, показалась мне чем-то близкой. Шевельнулась мысль о возможности связаться с ним, познакомиться.

Заглянул в Интернет – и только тут узнал, что Гольдштейн умер, оказывается, еще летом 2006 года, на 49-м году жизни. Пропустил, не заметил вовремя, и сколько еще запоздалых открытий ждет не только меня! На фотографиях небольшого роста интеллигентный еврей в круглых очках. Последний свой роман, «Спокойные поля», он

писал, уже будучи смертельно больным, у него был рак легких. Повествование в романе ведется от лица автобиографического героя: предчувствуя близкий конец, тот обращается к литературе как к единственному утешению. В одной из глав упоминается морфий, снимающий боль и делающий легкими сны. Чтобы сохранить для работы ясную голову, Гольдштейн от морфия стал, однако, отказываться и умер, как говорят, поставив в своем романе последнюю точку.

После него осталось всего четыре книги: кроме трех упомянутых, роман «Помни о Фамагусте». Впрочем, жанр всех этих своеобразных произведений не поддается привычным определениям. В одном из интервью Гольдштейн говорил, что «Аспекты духовного брака» сам он воспринимает «как сочинение прозаическое, роман в новеллах, да и в “Расставание с Нарциссом” была включена повесть, стилизованная под изображение невымышленных обстоятельств». В книгах, обозначенных как романы, меньше всего важен сюжет, да его, в сущности, и нет – разнородные, мало один с другим связанные эпизоды, но они буквально пронизаны эссеистикой, литературными размышлениями, автобиографическими отступлениями. Да о чем бы ни говорил автор, он, по сути, неизбежно рассказывает о себе.

Гольдштейн родился в эстонском Таллине, но Прибалтика в его памяти, а стало быть, и на страницах, никак, похоже, не запечатлелась. С детства он жил в Баку, там окончил филологический факультет университета, работал в газетных редакциях, «штался по промыслам и заводам», жил с рабочими в общежитиях, «сочинял справки о достижениях, ездил в командировки собирать взносы с колхозов» для полуфантомного Общества любителей книги. Наблюдательные, яркие, язвительные зарисовки выморочного советского быта разбросаны по разным книгам. Покинуть Баку его семью вынудили в 1990 году армянские погромы – об этом тоже есть впечатляющее эссе. До тех пор Гольдштейн лишь примерял к себе идею отъезда. «Оседлость, подобно невинности, оказалась утраченной».

В Израиле он стал зарабатывать в разных изданиях как журналист, жил главным образом в Тель-Авиве, но приходилось не раз переезжать, подыскивая жилье подешевле, то в Яффе, то в Лоде. В свободное от поденщины время он и начал писать свою прозу.

Израильская жизнь на страницах гольдштейновских книг предстает меньше всего еврейской – многонациональный бурлящий котел, грязноватый, отнюдь не интеллектуальный базар. Тут, конечно, арабы: «сметливые торговцы, сосущие извилистую кишку кальяна, верткие Аладдины, воздыхатели гашиша, томная лютость в их взглядах, шербетом облили змею». Тут и не всегда званые пришельцы из Африки, Азии, филиппинцы, эфиопы, румыны – кого только нет. («Нашествие», так названо эссе о них.) Выходцев из бывших советских республик приходится называть русскими, но русские ли они? Неизгладимо общими для всех остаются скорей советские черты. «Еврейский характер страны, кажущийся за ее пределами аксиомой, изнутри предстает едва ли уже доказуемой теоремой», – пишет Гольдштейн. И более жестко в другом месте: «Евреи запах уже потеряли, в отличие от оливковых соседей, они стесняются своих прежде сильных желез и мечтают уподобиться прочим, в стерильности погрязшим народам.

Но в резервациях черного мракобесия еще остаются евреи евреями, – продолжает он тут же. – Я бродил там в канун Судного дня, когда вращали петухов над головами, и тени закона тонули на вечернем ветру в покрывшейся рябью околплодной воде».

Слова о «черном мракобесии» следует считать, конечно, иронией, но совсем своим в ортодоксальных еврейских кварталах автор вряд ли себя чувствовал – не более чем симпатизирующий наблюдатель. О собственной религиозности Гольдштейна в текстах свидетельств нет, ее, скорей всего, и не было. Стал ли он сам израильским, еврейским писателем?

Для меня когда-то казалось несомненным, что человек, пишущий по-русски, где бы он ни жил, остается русским писателем – решает язык. Бродский оставался русским поэтом в Америке, пока не стал писать по-английски. Хемингуэй мог писать об Испании, Франции, Кубе и почти ничего об Америке, но писателем он оставался американским, каким же еще?

Гольдштейн эту мою уверенность поколебал. Ему представляется «малоаппетитной» идея «единства русской литературы: не так важно, где находится писатель – в Москве, Нью-Йорке, Берлине (подтекст такой, что жить надо в Москве, но об этом, шая эмигрантов, говорят не всегда), важно, что сочиненное им вольется в общую реку – “вернуться в Россию стихами”». Нет, утверждает он, за пределами России складывается литература, ценность которой – «в иноприродности, инаковости своих проявлений». Существуют «самостоятельные организмы, использующие тот же язык, но с особыми целями, продиктованными особыми же геолитературными нуждами». («О литературной эмиграции».)

Случай Гольдштейна позволяет осмыслить эту проблему по-новому. Он, конечно же, везде ощущает себя евреем, прежде всего евреем. «Нет слова мощнее, чем нация... Она дает кровь жилам, семя для мошонки, зрак глазнице, я щедрости ее невозбранной должник. А был нераскаянный грех, мечталось бродягой безродно с вокзала пройти в паксатлантическом каком-нибудь городке мимо двухбашенной церкви, бархатной мимо кондитерской»... – дальше следует долгий пассаж с приметами европейских городков, однотипного гостиничного быта. «Полвека хотел проскитаться из отеля в отель, на вопрос о корнях отвечая кислой гримаской, давно, дескать, снято с повестки, человек без родинки, песеннотихий никто, расплачиваюсь евро, нет наций после Голгофы, мой-то наверно – каюсь, был грех, о, нация, нация, все мое от тебя, я капля из дождевой твоей тучи».

Гольдштейн вырос в Азербайджане, в Израиль попал прямо оттуда, с промежуточной задержкой в Москве (в азербайджанском постпредстве). Россия для него – одна из стран, и не главная, русская литература – одна из литератур, ничто, кроме языка (но уж природного, незаменимого, о нем разговор особый), не связывает его с русской традицией. В книгах его ни разу не упомянут, кажется, ни Пушкин, ни Достоевский, разве что мимоходом, в литературе Гольдштейна интересует больше русский Серебряный век, с его европейскими реминисценциями – и, конечно же, европейская культура. Но при этом ничуть не меньше – мир тюркский (азербайджанский, мусульманский), мир армянский (о нем прекрасные страницы в «Помни о Фамагусте») – всех, впрочем, не перечислишь.

Скупыми, на редкость емкими штрихами писатель умеет не просто нарисовать впечатляющие картинки национальной жизни – воспроизвести ее внутреннюю атмосферу. Вот наугад несколько примеров, они позволят кое-что понять, подойти, может быть, к наиболее важной особенности гольдштейновской прозы.

«Западный берег! Желто-серые кучи, судорожное оцепенение толп, оскомины бесчисленных мавзолеев уныния... Камера, повиляв, подбирает мальчонку, экскурсовода конторы “Аль-Акса”, здесь жил шахид, здесь и здесь. На улице Мучеников ругается

семьянин: дети ворчат, у всех отцы как отцы, пойдя тоже взорвись, надо так надо, пойдя и взорвись, горе мне, горе, пойдя и взорвись».

Хорошо, не правда ли? Или вот прихожане русской православной церкви, середина 20-х годов:

«Жилистые, в темных платках богомолки, корневища рассыпанной почвы... Приводили убогих. Вбрасывались напряженной волей на костылях. Утюжками в матерых ручищах, от сергиевой оттолкнувшись земли, вкатывались на тележках обрубки. Пел бельмастый, залиvistый, запрокинутый отрок в поддевке. Кудлатые, с заплочными мешками входили калики. Его в храме народ, и пала Россия».



В возрасте 16 лет. Баку.

Начало 1970-х годов

О своем народе, о гбнущей стране размышляет здесь православный священник, отец Паисий – в этом персонаже без труда угадывается Павел Флоренский, русский религиозный философ, уничтоженный в сталинских лагерях, полуармянин, выросший на Кавказе, служивший в Сергиевом Посаде: «Смуглый восточник-священник, чей утолщенный к ноздрям нос украшала горбинка... Он усваивал на пяти языках, мог отчитать курс на профессорской кафедре математики».

В другом персонаже романа «Помни о Фамагусте», профессоре Бакинского университета Спиридонове, нетрудно узнать еще одного крупного мыслителя Серебряного века, Вячеслава Иванова, «поэта-мистагога, петербургско-московскую знаменитость». В 1920–1924 годах Вячеслав Иванов действительно жил в Баку, защитил там докторскую диссертацию «Дионис и прадионисийство». В одном из эпизодов романа он приглашает своего университетского коллегу, еврея Фридмана («молодой индоевропейский лингвист», прототипа определить не берусь) посмотреть шиитское шествие шахсей-вахсей. Ритуал массового иступления, с кровавым самобичеванием, на грани членовредительства, описан автором, как всегда, картинно. Смотреть продолжение Фридман, однако, отказывается: «Я в Питере переел оргиазма».

Постоянное соседство на страницах гольдштейновских книг совершенно несхожих культур, еврейской, православно-русской, мусульманско-тюркской, конечно же, не случайно. Переходит ли это соседство, взаимопересечение во взаимовлияние, есть ли у автора представление о некоей объединяющей их основе?

Нащупать ответ и сформулировать центральную, пожалуй, идею, которую от книги к книге осмысливает Гольдштейн, позволяет в романе «Помни о Фамагусте» вставной сюжет о даглинцах и их мугаме.

«Даг», поясняет автор, по-тюркски «гора», даглинцами, то бишь горцами, в книге названа группировка бакинских жителей, регулярно собиравшихся на асфальтовом пятачке, так называемом Парапете. («Даглинцы были обугленные. Даглинцев боялись».) Здесь они время от времени могли слушать мугам, мусульманское песнопение. Но традиционный мугам однажды перестал удовлетворять старейшину даглинцев, причину не сразу удалось объяснить.

«По форме он был тем же самым, что раньше, отверженным, раздирающим. И по сути своей он был таким, но только по внешней сути. Помимо формы, размышлял даглинец, с которой ассоциируется уклончивость и сокрытие подлинности, есть два уровня того, что ошибочно считается цельным и с чем сопрягаются понятия правды и глубины, – два уровня сути. Первый из них часто лжет, не подозревая об этом. Ложь внешнего уровня, как будто не говорящего правду, заключается в нечувствительности этой правды для рассудка и чувства, в приведении ее к такому виду, когда в ней начинают хозяйничать плавность и гладкость, и она становится ровной, беспрепятственно льющейся, как хиндустанский шансон. Правда внутренней сути другая. Пещеристая, шероховатая».

Читая это, нельзя не думать о прозе самого Гольдштейна, схожие слова не раз возникали в его размышлениях о литературе, искусстве. Откуда, однако, такие мысли у бакинского горца?

«На раздумья о сути навел его Сутин», объясняет автор. Художник Хаим Сутин, чей альбом случайно попался однажды мусульманскому старейшине. «Неважная полиграфия не помешала даглинцу почувствовать озноб от силы, которая снимала вопрос формы и содержания, принуждая задуматься о назначении... Сутин вытравил трафарет ремесла».

Так внешне прихотливо, но не случайно по внутренней сути, на глубине, соприкасаются повествовательные слои – как не случайным оказывается созвучие этого слова с фамилией художника, выходца из белорусского местечка, которого раввин однажды жестоко поколотил за то, что он изображал людей, нарушая религиозный запрет. Драматические обстоятельства его жизни, о которых повествуется дальше, – «все было побочными обстоятельствами выявления сути. Ее медиумом, не спросясь, Сутина избрали однажды и навсегда».

Еврей, открывший новое понимание искусства, и не просто искусства, мусульманину-даглинцу – если это и придумано (конечно, придумано), то вполне в духе всей философии Гольдштейна, художественной и жизненной. Поиски сути, подлинности не внешней, видимой, а глубинной, к которой пробивается всякая культура и связанный с ней художник, – это можно сказать не только о его прозе.

Каждая клеточка его повествования наполнена жизнью. Напряженно, сосредоточенно, жадно вглядывается писатель в ее проявления, в этот мутноватый поток, который несет, волочит по дну, переворачивая, не привередничая, не различая ценностей, что угодно; житейский мусор, попутное впечатление, встреченная проститутка, тель-авивский торговец, одинокая русская баба, уличный философ, его самодетельная теория, эпизоды человеческой глупости, слабости, болезненные ощущения – все может оказаться веществом литературы, мельчайшая частица хранит в себе скрытую энергетику, нужно ее лишь высвободить, проникнув сквозь видимость – к сути. В повседневности такое дается лишь вспышками, когда вдруг сфокусируется невнимательная, расслабленная, дремлющая душа, проявится в ней накопленное невзначай, про запас. В жизни напряжение не может быть постоянным. Служба литературы, если угодно, в этом и состоит: оживлять полусонную, инертную мысль, возвращать сосредоточенность взгляду, находить для этого неслучайные слова.

Я перечитывал Гольдштейна, работая над собственной прозой, читал по странице, иной раз по несколько фраз, больше и не надо было, нельзя, когда чтение требует сотворчества, встречного труда, напряженной внутренней работы, – и какими же приобретениями отзывалась эта работа! («Неотчужденное чтение», назвал Гольдштейн одно из эссе.)

«В марте в булочной Полуянова мать покупала жаворонков с глазками из изюма, сдобная птаха с низкогудящего синего неба... Нынче таких не пекут, пришлось бы ведь восстанавливать все остальное, небо и взрослых, хлеб и детей».

В считанных словах – и жанровая зарисовка, и ощущение русской весны, и мысль о целостности национальной культуры, ее глубинных основ, где внешних примет недостаточно (жаворонков-то пекут и теперь, но это всего лишь хлебопродукт, сдобная булочка, если покупка не соединена с религиозным праздничным чувством).

В романах Гольдштейна меньше всего важны придуманные сюжеты, долго их проследить не удастся – обрываются, растекаются прихотливо; вымышленные персонажи, при всей своей портретной пластичности, психологических подробностях, остаются все же полупрозрачными, переливчатыми; авторские суждения и оценки могут быть спорными. Всего важнее в этой прозе сам язык, его вещество, на что бы не перетекала независимо от сюжета мысль, взгляд автора. Язык этот заразителен (я сейчас пишу и чувствую по себе). Цитировалось уже достаточно, хочется все же посмаковать еще, наугад.

Вот о судьбе знакомого по газетной редакции: «Месяц в больнице для нервных, подлечился, считалось, но, обвыкшись опять на свободе <...> вдруг умчался по желобу в жадный раструб, сгинул, всосанный медициной».



Тель-Авив. Начало 1990-х годов

Иль о себе в школьные годы: «Я, раболепный потворщик, подстилка педагогических изнасилований, лишь бы отметка и успеваемость».

Но вот, если угодно, описание быстрой весны: «Набухшие почки, “пру и рву”, размножайтесь, размножились».

Такой эллиптизм в прозе для меня уже, пожалуй, чрезмерен. Боюсь, ни на один язык этого не перевести: словотворчество, культурные аллюзии, значение иных слов не понять без словаря – чья эрудиция поспеет за авторской? Популярности такая усложненность письма, что говорить, не приносит. Но Гольдштейн уже существует в печатном виде и постепенно будет до кого-то доходить. До многих ли? Подлинность явления редко подтверждается массовым успехом, во всяком случае, непосредственным, быстрым. Гольдштейн сам не раз об этом размышлял. Отдавая должное европейским знаменитостям, чей успех заслужен и неоспорим, он замечал: нередко их виртуозность и стилизаторский артистизм «маскируют гербарий, искусственные цветы, бабочек на булавках, подмену священного творчества изобретательным мастерством, когда домашнюю газовую горелку пытаются выдать за главенствующий над морем огонь маяка».

Подлинность, наполненность неподдельной жизнью каждой клеточки повествования – вот к чему стремится писатель. Завершая одно из эссе в книге «Аспекты духовного брака», Гольдштейн призывает на себя кару «за то, что написал эти вялые строки и не смог им придать необходимой энергии».

Пишущему остается перепроверять по этой мерке себя самого.

ОТ ВОРОТ «ЧЕЛСИ» ДО ВОРОТ СБОРНОЙ РОССИИ

Ėāīēä Ėāöēñ

Мне редко приходится писать не в литературную, а в политическую рубрику, тем более в «Актуалии». Еще реже, быть может первый раз в жизни, поводом к включению компьютера оказался спорт. Однако июнь 2009 года неожиданно, но довольно-таки жестко соединил в себе все три названные темы, прибавив к ним еще и антисемитизм.



Впрочем, все по порядку. Начнем с футбола. Три месяца тому назад российские СМИ облетело драматическое для всех российских болельщиков сообщение: великий голландец Гус Хиддинк, выведший доселе безнадежную российскую футбольную сборную на третье место в Европе и готовящий ее к борьбе за выход в финальный турнир чемпионата мира, поддался на увещевания Романа Абрамовича – бросился по совместительству спасать лондонский «Челси». Сам Хиддинк сказал, что его отношения с Романом Абрамовичем таковы, что отказать ему голландец просто не может.

И впрямь, к моменту, когда этот текст сдается в печать, «Челси» выиграл уже пять матчей, один свел вничью, но этого хватило для выхода в следующий круг Кубка чемпионов.

Пусть так, но подобным «актуалиям» место в спортивных газетах, а не в «Лехаиме». Но тут вмешивается в дело литература. Моя почта принесла конверт из Еврейского университета в Иерусалиме, в котором работает Центр Видала Сассуна по изучению антисемитизма.

В 32-м выпуске серии «Анализы текущих направлений в антисемитизме» читаю брошюру замечательного израильского литературоведа, автора книги о русских писателях-евреях в годы Октябрьской революции, издателя полного собрания сочинений Исаака Бабеля на иврите (2008) и монографии «Перечитывая Диккенса/Перечитывая город» профессора университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве Эфраима Зихера «Мультикультурализм, глобализация и антисемитизм: случай Британии» (2009). А там как раз то, что задело меня за живое, – футбол, «Челси», Роман Абрамович и, наверное, кем-то уже подзабытый израильский тренер клуба Авраам Грант. Тот самый Грант, который вывел свой клуб в финал Кубка чемпионов, однако проигравший, кажется по пенальти, этот финал в Москве на глазах все того же Романа Абрамовича. Впрочем, после Гранта был еще кто-то, кто довел «Челси» до необходимости спасения клуба Хиддинком, но про него брошюру не пишут, тем более в серии об антисемитизме. Чего тут интересного: итальянец ли ты в глобализованном мультикультурном мире, бразилец или кто угодно, если тренер ты хреновый, которому ни до какого финала Кубка чемпионов не дойти.

Иное дело – Авраам Грант. Ведь он не просто еврей, не просто израильтянин, а человек, способный в день памяти жертв Холокоста прийти на стадион с черной повязкой на рукаве. А после матча пойти на мемориальную церемонию соответствующей направленности. Для израильтянина, сына пострадавших в Холокосте родителей, это кажется вполне нормальным, если не обязательным, тем более в современной «толерантной» Британии.

В той самой Британии, о веротерпимости и национальной толерантности которой нам рассказывали псевдоисторические байки. Может быть, кто-то еще помнит, как Черчиллю якобы задавали вопрос: «Почему в Англии нет антисемитизма?» – а он якобы отвечал, что англичане не считают себя глупее евреев. (Теперь, наверное, сочли...)

Антисемитская напряженность достигла таких размеров, что еврейская община была вынуждена обращаться в Скотланд-Ярд. А самому Гранту, как рассказывает профессор Зихер, угрозы приходили в конвертах с подозрительным белым порошком либо в угрожающих e-mail'ах.

Интервью и сообщения на эту тему появлялись в «Маариве», статьи были в «Гардиан» и т. д., но здесь мы об этом ничего не знали.

Зато зимой 2009 года, когда российских биатлонистов отстранили от соревнований за употребление допинга, а их шведские и немецкие коллеги явно перешли грани приличия в общении с теми русскими, которых никто от соревнований не отстранял, и российские болельщики (правда это или нет) стали якобы посылать СМС-ки хулиганского содержания на телефоны шведских тренеров, те незамедлительно поставили вопрос об отмене этапа Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске из-за проблем с безопасностью. К сегодняшнему дню пыль улеглась, однако на зубах еще поскрипывают песчинки. Что позволено шведу в толерантной Европе – не позволено еврею и израильтянину.

Напомним и о том, что из-за антисемитских демонстраций вокруг стадиона в «нейтральной» Швеции весенний матч теннисного Кубка Дэвиса проходил (из

соображений безопасности участников израильской команды и вследствие антисемитских демонстраций) без зрителей, не исключено, что арабского, а не «твердого нордического» происхождения. Но и для Швеции, и для Британии это ничего не меняет. Ведь благородные борцы с «сионистским врагом» являются полноправными гражданами свободной Европы или, на худой конец, обладателями евросоюзского вида на жительство.

А вот как это выглядело в Лондоне. Все началось, когда Дэвид Меллор, пишущий в лондонской «Ивнинг стандарт», 20 сентября 2007 года обвинил владельца клуба Романа Абрамовича в действиях, напоминающих Калигулу, вводящего в клубе режим «беспорядочной скачки».

Напомним, что именно Калигула ввел своего коня в римский сенат. Честно говоря, весь этот «стилек» поразительно напоминает одно из не самых почтенных прозвищ московского ЦСКА – «конюшня», а ведь, как известно, Роман Абрамович имеет и к этому клубу некоторое отношение.

Напомним еще кое о чем, что не стал упоминать Эфраим Зихер. Читатели русской поэзии помнят, наверное, что одна великая поэтесса говорила, будто Борис Пастернак похож сразу на араба и его лошадь. Так вот, не на характерную ли еврейскую внешность Гранта намекает Дэвид Меллор?! Однако читаем дальше: «Пишущий в онлайн-газете “Гардиан” Алекс Стейн, чье имя может быть достаточным индикатором его этнической принадлежности даже и без декларирования его “племени” (так у Э. Зихера. – Л. К.), в первых строчках его статьи удивлялся, будет ли это “хорошо для евреев”, если уж вся история “дозрела до стадии теории еврейского заговора”».

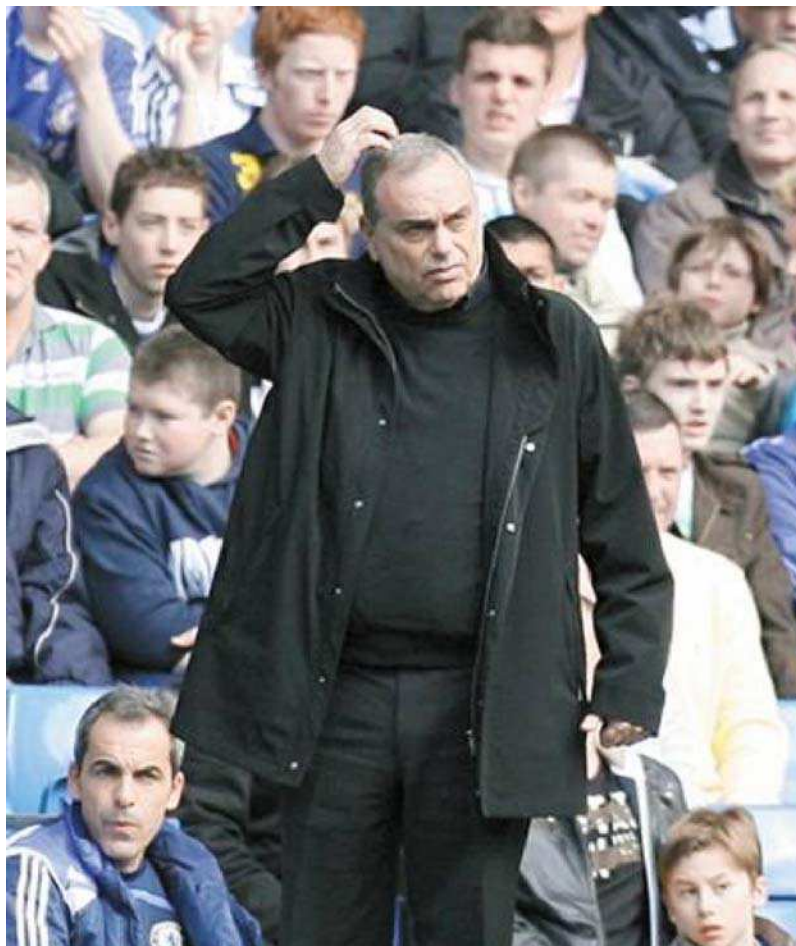
Замечательно и название статьи Стейна: «Да, но кошерно ли это?» Когда видишь такое, приходит на ум мысль: а не сами ли денационализированные ассимилянты, боящиеся за свою достаточно обеспеченную жизнь на Британских островах, хотят избавиться от раздражающих израильских потомков жертв Холокоста и безобидно комментировать итало-бразильско-голландские проблемы игры, родившейся, как считается, на Британских островах...

Но и это еще не все. Ведь одного Гранта английским «футбольным специалистом» мало, нужен все же и хозяин клуба. И он появляется в соответствующих публикациях незамедлительно: «Мартин Сэмьюэл, главный футбольный корреспондент “Таймс”, ставит под вопрос квалификацию Гранта и заявляет, что только теневые операции еврейского магната Романа Абрамовича могут объяснить его приглашение».

И далее Э. Зихер приводит цитату из статьи с характерным названием «Приглашение Авраама Гранта делает “Челси” не более чем игрушкой богача». Вот она: «Для понимания Абрамовича важно учитывать, что сильнейшее культурное влияние на его жизнь оказывает не национальность, но его судьба. В ранние дни “Романова нашествия”, когда владелец (“Челси”. – Л. К.) был фигурой несколько загадочной, отмечалось влияние на этого нового человека скорее его еврейского наследия, более сильного, чем его русские корни. Именно так он связывался с его внутренним кругом. Абрамович забавляется со своей “челсовской штучкой” (Chelski schtik), но это не то, что он есть в действительности».

Этот полужаргонный текст, свойственный далеко не всем публикациям уважаемой «Таймс», перевести довольно трудно. И тут без помощи профессора-литературоведа не обойтись. А комментарий Эфраима Зихера связан как раз со

стилистикой текста Мартина Сэмьюэла: «Сэмьюэл передразнивает американско-еврейский сленг (еврейский код) и утверждает, что Абрамович был поддержан израильским агентом (мастером сомнительных делишек) и русскими деньгами (коррупцированной мафией), которая также оплачивает разгульные вечеринки поп-звезд, которые залетают из России. Другими словами, все дело выглядит как «еврейский бизнес»: «Челси» не столько русский, сколько кошерный».



Еще лучше, чем этот «конспирологически антисемитский» текст, комментарий израильского филолога: «Это может выглядеть остроумно и озорно, и футбольный (со стилистическим американизмом soccer в названии английского football'a. – Л. К.) эксперт «Таймс» может не вызвать подозрения в антисемитизме; что выделяется здесь, однако, это то, как порознь, не взаимосвязанные отсылки к еврейским скрытым мотивам входят в длинную историю стереотипизации «еврея» как ловкача и конспиратора, поддерживающего международный и космополитический бизнес, связанный с сообществом своих единоверцев во всем мире».

Однако дело здесь не только в россиянце и экс-губернаторе Чукотки соответствующего происхождения, само обсуждение которого еще недавно выходило за пределы политкорректности. Дело здесь в антиизраилизме современной Европы (выходящем за пределы политкорректности, перейденные уже в разговоре о хозяине «Челси») и в явном изменении этнорелигиозного состава населения Старушки Европы, из-за своего преклонного возраста и немощи разучившейся воспроизводить европейцев.

Поэтому-то футбол и оказывается, по мнению израильского профессора, важным индикатором отношения плебса с английскими паспортами к евреям. Того самого

отношения, которого в открытую англичане в Англии проявить побоятся. Однако мы сейчас не будем продолжать анализ превращения английских команд в «жидовские» по мере появления у них еврейских владельцев или израильских тренеров. Ведь в глобализованном мире, сколько бы нам ни твердили обратное, все народы (по англичанину же Дж. Оруэллу) равны, но некоторые – равнее. И здесь никакая «политкорректная» глобализация не поможет.

Поэтому вернемся к нашим российским «коням» («ЦСКА») и «свиньям» («Спартак»). Попробуем предсказать, какие варианты возвращения Хиддинка от Абрамовича ждут нас теперь по истечении трехмесячного «одалживания» голландского специалиста в «Челси».

Первый и самый простой: российская сборная выходит из отборочной группы чемпионата мира. Следовательно, английская гастроль ничему не помешала. А уж что там будет на самом чемпионате, с «Челси» и Романом Аркадьевичем никак не связано.

Второй вариант: российская сборная проигрывает первые после-«челсовские» матчи, и именно этих очков не хватает в итоге для выхода из группы. Тут почти неизбежно последуют выводы от мистических до физических и психологических.

То ли у Хиддинка, как сказал один из футболистов, может не хватить форта на две команды, то ли чукотский губернатор «предаст» интересы России из-за своих личных клубных интересов, то ли общая «симпатия» нашего народа к бурным 90-м выльется в знакомое сочетание с обычным антисемитизмом.

Не будем забывать, что сама по себе болельщицкая среда не только в великой Британии, но и в сегодняшней великой России вполне ксенофобна. Поэтому последствия дружеской помощи не какого-то там российского клуба своему английскому собрату, а сборной России частному английскому клубу, принадлежащему Роману Абрамовичу, могут вылиться в серьезную проблему.

Поэтому-то мне и захотелось познакомить читателей с небольшой брошюрой Эфраима Зихера. Ведь, как говорят разведчики, предупрежден – значит, вооружен.

Что же касается собственно футбола, то будем надеяться, что игроки российских клубов, входящие в сборную России, получают после вылета их клубов из еврокубков этого года достаточно времени для отдыха и игровой практики в рамках чемпионата России, а игроки сборной, входящие в состав ведущих клубов Европы, наберутся там игровой практики и научатся футбольному уму-разуму «на Западе у чуждого семейства». По-видимому, в отличие от того, что имел в виду Осип Манделштам, когда писал эти строки в стихах «К немецкой речи» незадолго до начала тотального уничтожения евреев Европы, когда говорил о возможности «поучиться достоинству и чести» у этого (тогда германского) семейства, сегодня уже у англичан, судя по всему, учиться нечему.

И это еще один актуальный урок заканчивающейся трехмесячной гастрольной каденции тренера сборной России Гуса Хиддинка в клубе Романа Абрамовича «Челси».

А теперь все к экранам и на трибуны стадиона. И, как часто говорит один из комментаторов, – берегите себя!

МОИСЕЙ НАПШЕЛЬБАУМ: ФОТО -ГРАФ

На четыре вопроса отвечают: Алексей Дмитренко, Олег Лекманов, Эрик Наппельбаум, Борис Фрезинский

Аааааааааааа Аоаі аіае І аі ааіа

В начале перестройки я «заслужил» в личное пользование самиздатовский сборник стихотворений с фотографией Гумилева работы Наппельбаума. Стояла дата – 1921 год. Под стук трамвая, разбрасывающего снопы искр по Шмитовскому проезду, я принялся считать, сколько времени оставалось поэту Гумилеву до расстрельного оврага. Выходило совсем немного, и я, дабы не расставаться с ним так скоро, вглядывался в фотографию, задавался вопросом, как получилось у Наппельбаума так распознать волевое начало в облике поэта, саму первооснову его поэзии? Но с другой стороны, не обманывался ли я, угадывая того самого Гумилева, и вообще, допустимо ли характеризовать личность по фотографии? Сегодня меня интересует и другой вопрос: мог ли фотограф такого уровня состоять в заговоре против поэта Есенина. Случайно обнаружил в Интернете мнение, что Моисей Наппельбаум вместе со своими дружками евреями-огэпэушниками чуть ли не причастен к гибели Сергея Есенина. Этот бред с антисемитским душком появился не случайно. Как потом понял – по следам телесериала «Есенин». Именно с его помощью многие зрители наконец разобрались, кто убил Есенина-Безрукова – естественно, Троцкий, Блюмкин и компания. Я бы не обратил внимания на эту помойку, если бы на других сайтах не узнал, что и при жизни, и после кончины Моисея Соломоновича люди из прямо противоположного борзописцам лагеря частенько обвиняли его в том, что он по-местечковому млел чуть ли ни от каждого известного имени, снимая одновременно и тех, кто создавал новое искусство, и тех, кто его гнобил. Так кто же он, «академик фотографии» Моисей Наппельбаум? Какими были его творческие принципы?



ЕГО ВСЕГДА ПРИТЯГИВАЛО ЛИЦО



Àèàèèé Àì èò ðáí èí, èñò íðèé èèò áðàò óðí

– Не могли бы вы рассказать об архиве Наппельбаума, что он собой представляет на сегодняшний день, как попал к вам?

– Архив Наппельбаума у меня не хранится, да и никак не мог ко мне попасть, так как давно передан родственниками фотографа в московский РГАЛИ. Там же есть отдельные архивные фонды его детей – Ольги, Лили и, кажется, Льва. Архив Иды Наппельбаум (в основном, литературный) – в Российской национальной библиотеке в Петербурге. В фонде Наппельбаума в РГАЛИ много фотографий, кое-какие документы биографического характера... Много фотографий Наппельбаума в других архивах. Остается только сожалеть об утрате большей части негативов. Они хранились у Иды Наппельбаум в Ленинграде и, к сожалению, в те времена, когда никто не задумывался об их ценности, были выброшены. Мне принадлежит несколько десятков оригиналов фотографий Наппельбаума, небольшая часть архивных бумаг его дочерей, которые, возможно, впоследствии будут востребованы мной или кем-то другим в работе. Коллекционером я могу себя назвать с некоторой натяжкой, так как не занимаюсь этим систематически.

– Портреты Наппельбаума полны внутреннего драматизма, типичного для русской литературы XIX века. Даже в портрете Дзержинского есть что-то толстовско-достоевское, в некотором смысле обеляющее этого человека. Говорит ли это, что Моисею Соломоновичу эстетика конца XIX века, самый век был ближе и понятнее века XX-го? Откуда это старинное аристократическое чувство у Наппельбаума, родившегося в простой еврейской семье, вдалеке от «дворянских гнезд»? И не оно ли в итоге обеспечило ему прижизненную и посмертную славу?

– Наппельбаум был в полном смысле человеком, который «сделал себя сам». Часто бывает, что люди впоследствии идеализируют свою биографию, выстраивают свой «путь в искусстве» как последовательную цепочку достижений и побед, которая образовалась исключительно благодаря их неистребимой тяге к творчеству. Наппельбаум честно признается в своей книге «От ремесла к искусству», что его блуждания по миру, очень долгий путь из провинциального, местечкового Минска в Петербург (через всю Россию и даже Америку) был связан не только со стремлением к обучению, к освоению мастерства, к творчеству, но прежде всего – с поиском заработка. Когда мальчик-ретушер из еврейского квартала почувствовал, что он хочет быть больше, чем ремесленником? Кто знает, когда начинает разгораться та искра Б-жья, которая позволяет реализоваться творческому человеку? Я думаю, что на Наппельбаума в какой-то момент очень сильное

влияние оказала культурная среда, участие в спорах о месте фотографии в истории искусства. В Петербург он приехал уже немолодым человеком (особенно по меркам начала прошлого века), а лучшие свои снимки сделал в 1920-х годах, на шестом десятке своей жизни. Кстати, впечатляющая галерея образов деятелей культуры в эти годы начала складываться у Наппельбаума отчасти благодаря активной литературной деятельности его дочерей – прежде всего Иды и Фредерики, которые были ученицами Николая Гумилева и постепенно ввели в круг знакомых отца чуть ли не всю культурную элиту Москвы и Петербурга. В Минске конца XIX века существовали десятки фотоателье. У меня в коллекции есть образцы продукции этих фотохудожников, вернее, фоторемесленников – Берман, Страшунер, Миранский и Левинман, Гатовский, Метор и другие. На фоне этих стандартных по исполнению визиток и кабинеток фотографии Наппельбаума того времени совершенно ничем не выделяются. Переход на иной качественный уровень произошел у него где-то в середине 1910-х годов, когда он, судя по всему, смог добиться относительной финансовой самостоятельности. Тогда же он постепенно перевез все свое большое семейство из Минска в столицу и в 1916 году приобрел роскошное фотоателье Лежонова в мансарде дома на Невском, 72. Стал экспериментировать с новыми художественными техниками (например, гуммиарабик). В актуальном в то время споре о том, является ли фотография искусством, он принял позицию художника и отстаивал ее затем до конца дней. Безусловно, с эстетической точки зрения, с позиций художественной идеологии век XIX был ему ближе века XX-го. Чего нельзя в полной мере сказать, например, о его дочери Иде Наппельбаум, которая тоже весьма успешно занималась фотографией в 1920-х годах. Однако ее снимки уже несут флер новейших художественных течений, они экспрессивны, ориентированы на телесность, конкретность, антураж, более театральны. Сделанные в то же время снимки отца более психологичны, насыщены фоновой ретушью, придающей светописи живописность и заставившей впоследствии одного из современников находить в них что-то рембрандтовское.

– Что это за темная история, связанная со смертью Сергея Есенина: Моисея Соломоновича по указанию сверху направляют вместе с сыном Львом фотографировать скончавшегося поэта, а через какое-то время фотографии и негативы исчезают?

– Все, что связано со смертью Есенина, да и любого другого «культового» человека, как известно, является предметом всевозможных спекуляций. По поводу исчезновения негативов я впервые слышу. Лев Наппельбаум опубликовал маленькие мемуары о том, как они с отцом ездили в «Англетер» фотографировать Есенина (юному Льву особенно запомнились начищенные лакированные ботинки на трупе Есенина). Там про негативы, кажется, ничего не сказано. Между прочим, все эти снимки десятки раз опубликованы и широко известны. Зачем же нужно было похищать негативы? Наппельбаум делал эти фотографии по заказу (кажется, Союза поэтов) и мог передать негативы заказчику. Вообще, об источниках версии исчезновения негативов мне ничего неизвестно.

– Чем могут помочь фотографии литературоведу, исследователю русской литературы, предположить можно, а вот бывали случаи, когда вам, к примеру, та или иная фотография мешала прокрасться в другое измерение?

– Наппельбаум ощущал себя художником, и как художника его всегда притягивало лицо человека, его образ. Конечно, запечатлеть этот образ и было смыслом его творчества. Я был свидетелем того, что фотографический ряд может помешать художнику при создании образа (аналогично тому, как переводчику – чтение других переводов того же текста). Мой же интерес к Наппельбауму возник благодаря изучению

истории литературы. Так называемая литературная жизнь не существует отдельно от контекста, от других видов творчества, от быта, эстетики, политики данного времени. Фотография никогда не мешала мне проникнуть в метафизику эпохи, как раз наоборот. Я всегда мечтал увидеть лицо, как бы выхватить образ из глубины времен. Разочаровываться мне никогда не приходилось.

ПАРАНОИДАЛЬНАЯ БРЕХНЯ



Ἰ ἐὰν Ἐὰ ἐὶ ἀί ἰ ἄ, ἀἰ ἐὸ ἰ ὀ ὀ ἐ ἐ ἰ ἰ ἄ ἄ: ἀἰ ἐ ὀ ἰ ἄ ὀ, ἰ ὀ ὀ ἀ ἰ ὀ ἰ Ἄ ὀ

– Приходилось ли вам, как историку литературы, сталкиваться с фотографиями Наппельбаума?

– Конечно, и много раз. Облик многих поэтов, прозаиков и революционеров (именно в таком порядке) встает перед глазами в «исполнении» Наппельбаума. Особенно ценю его портреты Пастернака, Ленина и Мандельштама (хотя, как вы знаете, Н. Я. эту фотографию недолюбливала, считала, что Осип Эмильевич вышел слишком «парадно»: «На портретах Наппельбаума я – приличная дама с застывшим лицом, чего никогда не было, а Мандельштам – утонченный молодой человек, чем даже не пахло»). Кстати, для будущей «Мандельштамовской энциклопедии» я даже написал статью «Моисей Наппельбаум». Важным событием для меня стала большая выставка фотографий Наппельбаума, прошедшая несколько лет назад на Крымском валу.

– «Первый» демонстрировал телесериал «Есенин», в котором утверждалась линия изощренного убийства поэта евреями-чекистами, пригласившими своего же еврея Наппельбаума зафиксировать это событие. Евреев действительно было много и в ЧК, и в фотоискусстве, но что-то тут упрямо не срастается и отдает черносотенным зловонием. Наппельбаум не занимался репортерской съемкой, как так случилось, что он оказался на месте трагедии?

– Как человек, написавший биографию поэта Есенина, утверждаю, что «еврейско-чекистская» версия о злом Наппельбауме, причастном к заговору «жидочекистов» против святого русского поэта – параноидальная брехня. Непосредственный «убийца» подбирался авторами версий из более или менее близкого окружения Есенина по одному признаку – он должен был носить нерусскую фамилию. Напомню, что в поле зрения мифотворцев попали имажинисты (Анатолий Мариенгоф и Вадим Шершеневич), Яков Блюмкин, Вольф Эрлих, Лев Сосновский, Леопольд Авербах и даже (совсем уже с боку припека) Моисей Наппельбаум, фотографировавший мертвого

поэта. Думаю, что, узнав о самоубийстве автора «Черного человека» (от Эрлиха или Лукницкого), Наппельбаум, как азартный фотограф, не преминул сделать исторический кадр, в пользу этого свидетельствует и тот факт, что он взял с собой сына.

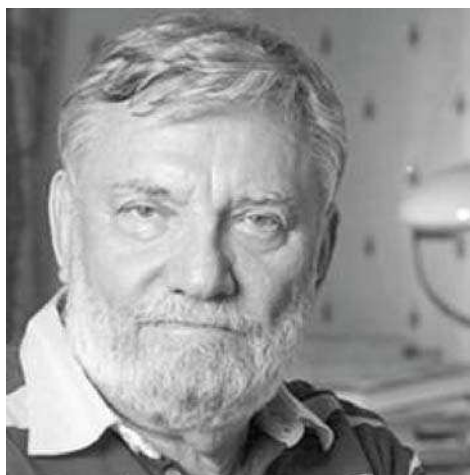
– Студия на Невском проспекте была местом встреч интеллигенции. В ту пору Наппельбаум создает фотографические образы Александра Блока, Сергея Есенина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Николая Гумилева... Как «серебряные» поэты и родоначальники новой литературной эпохи относились к творчеству Наппельбаума?

– По-разному относились, люди были капризные, но ценили, конечно (иначе бы не снимались). В частности, Блок и его мать, судя по воспоминаниям Самуила Алянского, очень любили ту действительно замечательную наппельбаумовскую фотографию, где Корней Чуковский, только что проваливший лекцию о Блоке, тоскливо смотрит в кадр, а сбоку на него ласково глядит сам Александр Александрович.

– Сегодняшние средства масс-медиа покупают, а значит, поддерживают не столько саму фотографию, сколько подкрепленное ею необходимое и часто фальсифицированное содержание. Говорит ли это о том, что фотоискусство уже не в состоянии должным образом отображать эпоху и мы не получим достоверного фотодокумента, скажем, современной русской литературы?

– Ну, не знаю. Мне-то наоборот кажется, что нашим счастливым потомкам останется столько фотографий – мало не покажется. Ведь фотоаппараты-мыльницы сейчас сносно держат в руках десятки любителей русской поэзии. И на каждом вечере, скажем, Гандлевского или Кибирова делается огромное количество снимков. Какие-то из них – из рук вон плохие, а какие-то получаются очень даже ничего себе. Вообще, я думаю (это, разумеется, сугубо дилетантское суждение), что граница между суперпрофессиональными фотографиями и любительскими в последние десятилетия размылась; приходишь на почти любую выставку и думаешь: «Ага, так если не я, то мой сын Филипп точно сможет сфотографировать». Но к работам редких гениев, вроде Моисея Наппельбаума, это, конечно, не относится.

ЭРЕНБУРГ УХОДИЛ, ПРИХОДИЛ МИХОЭЛС



Ydēē I ai i aēvāōi, oēēē, i aāāā-ēē

– К концу жизни или после каких-то серьезных потрясений человек часто душою и помыслами устремляется к корням, к людям одной крови и веры. Был ли Моисей Соломонович «хаскальным» евреем или иудаизм, связь с еврейством были потеряны и не восстановлены?

– Мне кажется, тут все дело в понимании еврейства, в точке обзора. Если идти от классического варианта – безусловно, связь была потеряна и не восстановлена. Религиозным евреем он не был, по крайней мере, таким я его не помню, хотя, предполагаю, происходил дед из семьи, соблюдавшей субботу, но, опять-таки, каких-то точных сведений на этот счет у меня нет. Насколько я знаю, после его возвращения из Америки мой отец, Лев Моисеевич, и мои тети не воспитывались как верующие евреи. Но я не уверен, что для того чтобы быть евреем, нужно обязательно быть религиозным. Я думаю, что для деда очень важным, может быть, самым важным было ощущать себя частью самого широкого мира, и я думаю, он считал, что добился этого даже и до революции со своей фотографией на Невском, с выездом на лето в Царское Село со Двором и тому подобным. Что же касается еврейства, он, наверное, очень бы удивился этому вопросу. Ему не требовалось ощущать себя евреем, он им просто был. В этом смысле достаточно любопытным может быть тот факт, что его дни рождения всегда распадались как бы на две половины – на первой душой компании был Эренбург, а на второй Эренбург уходил и приходил на его роль Михоэлс, которого, наверное, легче связать с еврейством в смысле вашего вопроса. Но ведь и Михоэлс был женат на польской графине Потоцкой...

– Поначалу Моисей Соломонович к революции отнесся вполне позитивно, питая искренние надежды на светлое будущее. А каким было его отношение к советской власти, чьим фотохронистом он по праву считался, особенно после того, как его Идочка, ученица Гумилева, получила десять лет лагерей, после странного случая, связанного с уходом из жизни Есенина и «потерей» негативов?

– Семья Наппельбаумов во всю свою историю отдавала себе отчет, в каком мире и при какой власти существует. Иллюзий не питала. Моисея Соломоновича тоже арестовывали в самом начале советской власти, решив, что этот знаменитый фотограф – богатый человек – чего никогда не было – и, если его посадить, да еще крепко надавить на него, он отдаст все свои сбережения. Надо сказать, отпустили довольно быстро, не без

помощи влиятельных защитников, таких, как Луначарский. Думаю, если и было что-то такое, изменившее в корне отношение к советской власти, это расстрел Гумилева, которого в семье боготворили. В студии деда собирался кружок «Звучащая раковина», и руководил им Николай Степанович. Вторая дочь, Фрида, слыла любимой ученицей Гумилева, но после его расстрела перестала писать стихи. Вообще, наша семья была литературной – четыре дочери, из них три писали стихи вполне профессионально, одна литературный критик. Писали все, если не считать моего отца, который был архитектором. Что касается Есенина. Негативы никуда не исчезали. История кажется странной, потому что за давностью лет довольно трудно себе предположить, почему позвали именно деда, который никогда не числился репортером-фотографом. Насколько мне не изменяет память, это единственная фотография такого рода. Хотя нет, еще Блока умершего снимал. И больше случаев я не припомню. Мне кажется, люди, с которыми Есенин был дружен и которые по роду службы появились в номере Есенина сразу после его смерти, решили сделать этакий эквивалент посмертной маски. Вот и пригласили деда. Он же не фотографировал Есенина в петле, как судебный фотограф. А другие негативы «исчезали» у него постоянно. Ведь он фотографировал и Троцкого, и Зиновьева, и Радека и вообще всех-всех. Хранение подобных негативов было эквивалентно контрреволюции, и многие из этих исторических фотографий уже не восстановить. К слову сказать, пропал и почти весь дореволюционный архив. А как интересно было бы сравнить лица России «до» и «после». Что же касается его отношения к сталинской эпохе, то сейчас трудно себе представить, «как было на самом деле». Когда идет очень сильный дождь, никто не жалуется на него, – даже если этот дождь кровавый, – а думает, как бы ему не промокнуть. В те времена одним из способов не промокнуть было как можно меньше говорить на тему дождя – первый урок, преподанный мне в семье. Дед не меньше других знал, в какое время он живет и что с любым может случиться всякое. Но мне кажется, он верил, что к нему это относится меньше, чем к другим. И похоже, за этим что-то было. Скажем, уже после войны его позвали снимать Молотова на правительственной даче. Возвращаясь, он зачем-то решил занять себя беседой с молотовским шофером и мимоходом обронил, что-де, мол, удивительное дело, как такой глупый человек мог стать премьер-министром. После этого его уже никогда не приглашали снимать членов Политбюро. Но по тем временам это был абсолютный пустяк. Были и другие случаи, приводившие всю семью в трепет, но сходявшие ему с рук. Думаю, тут не обошлось без самого Иосифа Виссарионовича. Было несколько случаев, когда один только Сталин мог дать обратный ход. Хотя бы та же история с Молотовым. Несомненно, Сталин ценил деда за сделанную им фотографию. Насколько я знаю, дед фотографировал вождя, когда тот даже не был наркомом, но по фотографии уже видно было, что с этим человеком лучше не связываться. Должно быть, таким Сталин себе и нравился, и дед вольно или невольно угодил ему.

– Глядя на работы вашего дедушки, невольно думаешь о его внутреннем аристократизме. Каким человеком он был в жизни?

– В первую очередь был работающим человеком. Работал, и много, до конца жизни. Любил и умел интересно рассказывать. У него были замечательные друзья. Все его дни рождения, которые я застал, – это было нечто! Я видел с детства практически всю верхушку российской интеллигенции. С ним невозможно было ходить по улицам. Нестандартная внешность, борода... Каждый третий человек на улице (Москва тогда была не такая большая) с ним здоровался, потому что когда-то фотографировался у него. Возможно, аристократизм, о котором вы говорите, был связан с тем, что он совершенно твердо знал свое место и свое предназначение. Ценил себя высоко. Ни на кого не смотрел снизу вверх, но, кажется, и сверху вниз тоже. Так что в этом он действительно был аристократом.

– Часто ли вы вспоминаете деда, думаете о нем, имеются ли в доме какие-то его вещи, семейные реликвии, которые из далей минувшего помогают душе опереться в настоящем?

– Я не столь романтически настроенный человек. Естественно, бывает, вспоминаю деда, как же без этого, вспоминаю еще и потому, что люди им интересуются, спрашивают, да и фамилия довольно известная, провоцирует задать вопрос: «Вы случайно не родственник Моисея Наппельбаума?..» Что касается дедовых вещей. У меня хранятся его стекла, один из фотоаппаратов, есть даже свидетельство о рождении... Связь с дедом никогда не прерывалась, я всегда помнил, чей внук. Когда получал паспорт, мне настоятельно советовали сменить фамилию, взять мамину – Корнилова, – в чем, как вы понимаете, имелись свои немалые резоны. Однако я предпочел носить фамилию деда.

ЕЩЕ КАКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ!

А і дзеñ Одысеі і веее, і еїнаò аеїї еїно і дзе ееò адыò оды

– У дочери Наппельбаума, поэтессы и фотографа Иды Наппельбаум, есть стихотворение, понравившееся Гумилеву: «Помню детство свое без иконы, / Без молитвы и праздничных дней, / Вечера были так благовонны / Без субботних пахучих свечей. // Никогда не была в синагоге / И в мечеть не входила босой, / Только жутко мечтала о Б-ге, / Утолившись тоскою ночной». Не говорит ли оно о том, что единственной «Пасхой» семьи Наппельбаумов уже тогда было искусство, а Б-г Моше и Якова оставлен в Минске?

– Нигде и никогда мне не приходилось читать или слышать что-либо на эту тему, но никаких оснований не верить давним стихам Иды Моисеевны нет. В любом случае, думаю, что рассуждения на тему «оставался ли Б-г Моше и Якова на дне души старого Наппельбаума» остаются гаданиями на кофейной гуще.

– Есть люди настолько светлые душою, что возвышают весь мир вокруг. Не «поднимал» ли фотограф Наппельбаум светом своей души кровавую кремлевскую верхушку? На фотографиях они герои не своего времени, но времени Моисея Соломоновича, у которого взгляд на эпоху был не только и не столько даже рембрандтовский, сколько библейский. Не тем ли уникальны его портреты советской номенклатуры, что еврейское мировоззрение в них доминирует?

– Можно найти немало фотографий Адольфа Гитлера с детьми – милого доброго семьянина и христианина. Так что? Будем рассуждать на тему светлых душ нацистских фотографов, возвышавших мир вокруг? Наппельбаум был несомненно добрым человеком, благоговевшим не только перед всеми деятелями литературы и искусства, но и перед всеми известными тогда деятелями нового режима. В свою очередь, всякий, кто оказывался перед объективом камеры этого общепризнанного мастера, старался выглядеть посимпатичней. Людям советской номенклатуры, привычным к лицедейству, это не стоило больших усилий.

– Почему Эренбурга или того же Ильфа, так сказать, «снимающих» писателей, интересовали люди судьбою особо не отмеченные, и почему объектив Наппельбаума искал человека, вознесшегося над людской массой? Ведь Наппельбаум любил литературу и разбирался в ней, сам писал, да и в конформизме его нельзя было упрекнуть?

– Эренбург и Ильф увлекались фотографированием как любители. Каждого из них в этом деле интересовало свое: Эренбурга в большей степени – репортаж (таковы его знаменитые парижские или испанские снимки), иногда он снимал, чтобы дать снимки в газету или журнал; снимал он и вполне знаменитых своих друзей – скажем, Антонио Мачадо или Пастернака, Натана Альтмана или делегатов Второго конгресса антифашистских писателей в Испании. Ильф – в большей степени эстет в фотографии, что видно в его натюрмортах и других упражнениях, в массе домашних снимков жены, но он снимал и приятелей-литераторов, и города Америки и так далее. Наппельбаум – фотограф-профессионал, он этим зарабатывал, он снимал клиентов. Другое дело, что в советское время он стал в известном смысле фотографом номенклатуры (всякой – и литературно-художественной, и научной, и политической). Большой мастер, он при этом благоговел перед своими моделями и снимал их, стараясь каждый раз сделать работу красиво (как он это понимал). Из огромного потока сохранившихся его снимков теперь репродуцируют, понятно, лишь фото известных людей. Рассматривая их и зная немало об отснятой натуре, люди многое для себя домысливают, полагая, что фотограф домысленное ими уже тогда чувствовал. Называя себя «художником-фотографом», Наппельбаум знал старую живопись и выработал манеру, по которой его снимки ни с кем не спутаешь. Что касается темы «Наппельбаум и литература», предпочту процитировать Николая Корнеевича Чуковского, бывавшего у Наппельбаума с молодых лет и имевшего достаточно острый глаз: «Эта любовь к людям искусства и литературы была в нем удивительной чертой, потому что, в сущности, он был человек малообразованный, книг почти не читавший и не только ничего не понимавший в произведениях тех, кого так любил, но и не пытавшийся понять <...> В узком кругу папа Наппельбаум иногда отваживался высказать и свое мнение о прочитанных стихах. Едва он открывал рот, как у дочерей его становились напряженные лица: они смертельно боялись, как бы он чего не сморозил и не осрамил их перед лицом знатоков. Обычно они перебивали его раньше, чем он успевал закончить первую фразу. И он, благоговевший перед своими дочками, послушно замолкал».

– Вы дружили с Идой Наппельбаум и, кажется, состоите в родстве с легендарными Оцупами. Расскажите, каковы были взаимоотношения этих двух великих фотографов?

– С Идой Моисеевной Наппельбаум меня познакомил мой покойный друг Миша Балцвиник, собравший колоссальную фотоколлекцию писательских портретов и сам снимавший своих современников. У Иды Моисеевны я часто бывал в гостях, встречался у нее и с приезжавшей из Москвы Ольгой Моисеевной, в чьей записи вышли воспоминания Наппельбаума (с ней и переписывался). Они удивились, узнав, что моя тетушка была замужем за племянником Петра Адольфовича Оцупа, тоже фотографом, Романом Иосифовичем Оцупом, которого, нередко бывая у него дома, я с детства видел работавшим – вечерами обычно ретушировавшим снимки. И Наппельбаум, и Оцупы до революции были не местечковые ремесленники – они имели привилегию права жительства во всех городах империи. При этом фотограф Наппельбаум был один (потом уже ему помогали дочери Ида и Фредерика), а фотографов Оцупов было трое. Существовали два клана Оцупов – царскоселы, ставшие поэтами (дети Авдея Оцупа, еврейского имени которого я не знаю), и кронштадтцы (дети Абея Оцупа, переименовавшего себя в Адольфа), ставшие известными фотографами. Последних было трое братьев. Старший, Хацкель (ставший Александром), – знаменитый портретист, «поставщик двора», снимавший царскую семью и актеров императорских театров, его ателье размещалось на углу Литейного и Бассейной. Средний, Иосиф, ателье и квартира которого с начала XX века помещались на Литейном, 41, причем ателье национализировали в 1930-м, но квартиру ему оставили, и я в ней часто бывал. Младший,

Пинхус (он назвал себя Петром, а в послевоенное время даже сумел записаться в караимы, так было удобнее для его карьеры), – фоторепортер петроградских газет, не имевший ателье. Как и Наппельбаум, Оцупы после революции остались в Петрограде. Была ли конкуренция между Наппельбаумом и Оцупом? Еще какая! Более того, сильная конкуренция была даже между самими Оцупами (портретистами Александром и Иосифом). Петр, оставаясь фоторепортером и получив в 1918-м заказ на съемку Ленина, не будучи тогда портретистом, попросил брата Иосифа провести эту съемку (но об этом никогда даже не упоминал), а последующие снимки Ленина и товарищей делал уже сам. Кстати сказать, большой фотоальбом Петра Оцупа, выпущенный в 2007 году, как и выставка, по которой он сделан, – постыдная просталинская фальсификация истории революции и Гражданской войны. Где в нем Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Тухачевский, Уборевич, Блюхер? Оцуп их снимал, но эти снимки в 1930-х изъяли. И никто не дал себе труда разыскать их в спецхранах. То же самое, понятно, произошло и с Наппельбаумом. Я хорошо помню, как меня поразил один старый негатив, случайно уцелевший и увиденный мною в доме Оцупов, – на нем пером были соскоблены люди, объявленные «врагами народа». Не на отпечатке, а на негативе! С наследием знаменитых фотографов происходило то же, что и с наследием знаменитых писателей...

Несомненно, никакого участия в заговоре против поэта Есенина, если таковой и был, фотограф Наппельбаум не принимал. Его искусство было далеко от политики, сколько бы раз он ни ездил в Кремль. Причину, по которой и сегодня недопонимают Наппельбаума, надо искать в его творческом подходе: нет времени без человека, конкретное время – всегда конкретный человек, всматриваясь в него, ты видишь эпоху; чем масштабнее человек, тем ярче она предстает перед тобой. Такой подход позволял Наппельбауму избыть художника, стать чистым Временем за мгновение до того, как щелкнет затвор. Потому-то и Гумилев, и его косвенный убийца – Ленин... Какая уж тут политика, тут одно служение Б-гу. И в этом служении, должно быть, и заключался аристократизм фотографа Моисея Наппельбаума.

Вы читали? *Леонид Кацис. Еврейство в кризисе культуры // 2009, № 2–3.*

Реакция. Статья, к сожалению, содержит ряд ошибок и концептуальных неточностей. Автор приводит цитату из М. Кагана: «Религия, понятая как бегство от жизни и уход от мира, отрицая жизнь и мир, может перед лицом этических проблем дать только камни вместо хлеба». В последних словах автору почудилась цитата из лермонтовского «Нищего». Первоисточник цитаты Кагана, равно как и Лермонтова, – известные слова из Нагорной проповеди: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» (Матф., 7:9). Вторая ссылка на стихотворение М. Лермонтова «Дума» также притянута. Отношение Кагана к традиционному иудаизму менее всего можно назвать «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». Каган как раз и призывает к бережному сохранению культурного наследия отцов, тогда как Лермонтов насмешливо глядит назад, на «ребяческий разврат» предков. Значительная часть статьи посвящена обсуждению проблемы иудаизации христианской Европы, восходящей к идеям Г. Когена и развитой в трудах М. Кагана, его ученика. И здесь мы находим ряд неточностей и в самой концепции М. Кагана, и в ее анализе Л. Кацисом. Об «иудаизации христианства» в строгом смысле слова, то есть о массовом переходе христиан в иудаизм, не могло быть и речи: гиюр и в Европе, и в России был в XIX веке весьма редким явлением. Философские же размышления М. Кагана об «этической иудаизации христианства» имеют под собой весьма зыбкую почву, ибо основой этики иудаизма были и остаются Тора и Талмуд, а отнюдь не сочинения Г. Когена и П. Наторпа, вдохновлявшие М. Кагана. Если иметь в виду напряженное чувство историзма и мессианизма, равно присущее и иудаизму, и христианству, то оно было изначально заложено в христианство иудаизмом. Если иметь в виду повышенное чувство личного начала в отношениях с Б-гом и человеком, то можно сказать то же самое. Вообще, все разговоры об «иудейско-христианской культуре» страдают непониманием глубокой разницы между иудаизмом и христианством, о чем уже не раз было сказано. Говорить о какой-то «этической иудаизации христианской культуры» на фоне разнузданного антисемитизма и в преддверии Холокоста – в лучшем случае политическая слепота и полное отсутствие исторического чутья. Кризис европейской культуры, пророчески предсказанный Ницше, имел в своей основе утрату религиозной веры в высшие ценности, отсюда-то и выросли и национал-социализм, и большевизм, и Катастрофа европейского еврейства. Между прочим, примечательный факт заключается в том, что обвинения в иудаизации Европы, европейского духа и европейской культуры громче всего звучали именно из лагеря антисемитов – от Е. Дюринга до Гитлера и Розенберга. Требования «покончить с еврейской заразой» были основаны не только на расовой ненависти, но в значительной мере на убеждении, что «еврейский дух» насквозь пропитал Германию и «старую добрую Европу». Странно, что эта концептуальная антипараллель не пришла в голову автора.

А. Еִאֲמִירָא עֵאִי אֲדִירָא

Наш ответ. Уважаемый господин Каганов!

«Иудаизация христианства» не имеет никакого отношения к гиюру, она есть духовный процесс возвращения христианства от языческого эллинизма к иудейскому монотеизму. Это идея не еврейской, а немецкой философии и далеко не семитофильской. Проблема наличия или отсутствия скрытых или явных цитат из Лермонтова у еврейских поэтов и мыслителей XIX–XX веков не решается высокомерным указанием на очевидный и всюду приведенный источник стихов Лермонтова. А вот учет этого обязательного для

любого относительно грамотного читателя философии источника входит как раз в процесс осмысления так называемой «иудаизации христианства» не с немецко-христианской, а с еврейской стороны. К этому же относится и анализ Матвеем Каганом тех же черт творчества Пушкина. Наконец, я готов принять любые замечания в неточном понимании мною концепции Кагана или в неполноте изложения его мыслей (Матвей Исаевич сложнее, чем кажется: в «Лехаиме» лишь из соображений объема статья Кагана о кризисе церкви не описана), однако ни при каких условиях не допускаю посмертного оскорбления людей, которые уже не могут постоять за себя. А именно к таким случаям относится Ваше замечание о «ряде неточностей и в самой концепции М. Кагана». Кроме всего прочего, для оценки моего подхода к «концепции» Матвея Кагана надо читать его самого, а не мои цитаты в «Лехаиме».

É. Èàöèñ

Вы читали? Бродский: «протестант» или «жид»? Беседу ведет Афанасий Мамедов // 2007, № 9.

Реакция. Бродский был и останется гениальным русским поэтом: «Родина поэта – его язык» (И. Б.). Библейские стихи есть не только у него, но и у многих других поэтов, это не означает, что все они суть еврейские поэты. Еврейский народ – народ Книги, и вклад его в развитие человечества бесценен. Вы, будучи еврейским писателем, пренебрежительно говорите о евреях: евреи после Катастрофы так и не поднялись. «Да, они продолжают существовать, даже государство создали, но того еврейского народа, который был до Катастрофы, – никогда уже не будет». «Даже государство»?! Всего за шестьдесят лет в пустыне, в обстановке постоянных войн и террора, создано не просто государство, а государство, вошедшее в число самых развитых! Вы говорите: «Еврейский народ – единственный, у которого конец света позади». «Конец света» – это что?! Железнодорожная станция, которую проехали? Еврейский народ не единственный, переживший катастрофу. «Б-г заключил с евреями не завет, не договор – Он вынес им приговор. И еврейская Катастрофа была не чем иным, как приведением этого приговора в исполнение». «Приговор Б-га» в исполнение приводили нацисты. Значит ли это, что Сам Б-г благословил их на это?

Á. Íáεσòááò, Èí òáðíáò

ДАВНИЕ РАССКАЗЫ

Рѐѐаї Оѐѐї



Период между восстановлением польской государственности после первой мировой войны и сентябрем 1939 года – началом второй мировой – в Польше называют межвоенным двадцатилетием.

Заново возникшая после почти двухсотлетних разделов страна переживала время «собирания камней». Камни были разные. Булыжники пролетариата. Камни в чужой огород. Краеугольные камни. Камни, сверкавшие в ожерельях высокопоставленных шлюх... И те, которые, ловко работая мастерками, укладывали в стены мастера своего дела – искусные каменщики...

...И те, которыми расколачивали оконца еврейских лавочек.

В Польше, где евреи составляли чуть ли не треть населения, антиеврейские выходки тогда были в порядке вещей, а вдохновляемая гитлеровским соседством чернь накапливала плебейскую ярость, ибо впереди ей виделся небывалый триумф.

Газеты верещали, писаки изошрялись, религиозные авторитеты проводили диспуты, идеологический силос скармливался в непомерных количествах. В университете устроили «лавочное гетто» – отделили от остальных студентов скамьи еврейских учащихся. Арийские активисты размахивали бритвенными лезвиями.

Но такой была не вся Польша. Были польские граждане, которых не раздражали пейсы и лапсердаки, были достойные министры и самоотверженные клирики. «Не могшие молчать» писатели (еврейского и нееврейского происхождения) делали свое дело. Среди них один из лучших польских поэтов, иронический Юлиан Тувим. Хамская пена, конечно, не оставляла в покое и его, он же мастерски отбивался, насмешничал и ободрял своими выдумками обескураженных и помрачневших соплеменников.

Три текста, которые мы публикуем, дают некоторое представление о тогдашней атмосфере.

А вторая мировая тем не менее началась, и культура, которая вроде бы призвана защитить и ободрить людей, в который раз не упасла обреченных и не остановила убийц.

Аїаō Ўїї аїї

КИНОХАМЫ

Существует преступная миллионная мафия, гнусную деятельность которой, к сожалению, не получается «подвести» под статьи уголовного кодекса, хотя члены ее заслуживают всех существующих, а также не используемых уже пыточных методов – строгого тюремного заключения, содержания в темнице, публичной порки и безотлагательного мордобоя. Эта организованная банда, эта бражка темных субъектов орудует исключительно по кинотеатрам. Воруют? Нет. Такое можно было бы понять. Аморально ведут себя? Нет. Такое было бы даже мило. Что же эти уроды делают?

Читают вслух титры.

Не знаю, дорогой читатель, преследуют ли они тебя. Меня – неотступно. Едва я усаживаюсь в кресло, тут же позади появляется (или уже поджидает меня там) какая-нибудь парочка и вслух, с кретинским упорством читает титры. Если парочка составлена из самца и самки, чтицей, как правило, бывает она. Если пара хамов рода мужеского, читают по очереди. Если две идиотки – разом. Случалось мне иметь позади и целые семьи. Тогда чтение производилось «по голосам» (мелодекламация) с компонентами тонких детских голосочков. Наихудшая разновидность этих мерзавцев – типы не только читающие титры, но и громко оповещающие обо всем, что происходит на экране:

«И что же с нашим делом, дорогой граф? Увижу ли я когда-нибудь свои деньги?»

Скотина принимается читать по складам:

– И... и... что... что же с на... на-на-нашим делом до... доро... дорогой граф... граф...

Титр между тем исчез, поэтому он спрашивает урода, который сбоку, что там «было нарисовано». Тот сообщает:

– Он его спрашивал, что с этим делом и отдаст ли он ему гроши.

А на экране уже видать графа и его собеседника оживленно беседующими. Идиот снова начинает:

– Во! Он сейчас его спрашивает, что с этим делом и отдаст ли тот деньги. Ха-ха! Дурак будет, если отдаст.

Граф в погоне за циркачкой, уже в Багдаде, там вспыхнула революция. Арабы несутся на взмыленных конях. Титров, к счастью, нет. Но скотина есть. И он, конечно, вещает.

– В Палестину отвалил за деньгами. Там евреи верхом ездют. А ее найти не может. Во – с револьвером зафигачивает. Чего-то у старичка спрашивает.

Появляется титр: «Но Хасан ибн Наджмуддин не узнал своего благодетеля».

Тусклый кретинский голос тотчас вступает.

– Но Ха... Хасан и... ибн... Надо-же... Муд... Муд-дин... не... у... у... узнал своего благо... благодетеля.

Дружок тупого хама добавляет любопытный комментарий:

– Во – не узнал его. Он не знает, что это он, потому что его не узнал. Если б узнал, то бы знал, а так не знает.

...А тут магараджи палят уже из пулеметов в окна подземного кабаре в Лиссабоне. Шампанита поет английский шлягер.

Обращайтесь обходительно с селедкой,

А с телятиной как можно мягче...

На экране перевод:

Коль девочка полюбит,

То поцелуйчик даст...

Чудовище порождает шутку:

– Может, даст, а может, не даст! А?

Пряатель с ним соглашается:

– Возможно, не даст, а возможно, даст.

И оба смеются. Долго смеются, булькая, шепелявя, капая слюной, обхрюкивая и обрыгивая все, что видят, читают, думают и чувствуют.

А если им сказать, чтобы сидели потише, неодобрительно шикнуть или строго поглядеть, смертельно оскорбляются и сыплют злобные реплики:

- Если нервный, дома надо сидеть.
- Смотрите на него! Еврейский граф!
- Брось, Вацек, будешь со всякими говорить!
- А если я не желаю выслушивать замечаний! Интеллигенция!
- У меня билет тоже купленный!
- За своим шнобелем присматривай!
- Воспитанный нашелся!

Они многое могут сказать.

В этот момент проектор запинаясь и экран на четверть секунды гаснет. Хамы колотят ногами, стучат палками и орут «сапожники!» По-ихнему, кто-то их надувает. Раз «уплочено», подавай им порядок – и даже мельчайший, мимолетнейший дефект гениальной машины будит в каналах что-то вроде полагающегося им триумфа.

1931



ИНТЕРВЬЮ

На визитной карточке, которую протянула мне горничная, стояло: «Богдан Рышард Лупко, литератор». Затем вошел сам литератор Богдан Рышард Лупко, объявил, что он – Богдан Рышард Лупко, литератор, и сел.

Богдан Рышард Лупко оглядел стены, письменный стол, полки и, наконец, голосом дрожащим и радостно возбужденным сказал:

- Вот, значит, храм раздумий, в коем творит маэстро.

Положительное впечатление, произведенное на меня Богданом Рышардом Лупко возникло как-то сразу. «Маэстриащих» я вообще-то недолюбиваю. Но, поглядев в его голубые сияющие глаза, полные восторга и поклонения по отношению ко мне (в глазах этих было целое посвящение – длинное, сердечное, преувеличенное, завершаемое глубоким уважением и преданностью), поглядев на беспомощные руки Лупко, руки,

которые могли быть в данный момент самыми счастливыми, держи они букет роз (предназначенный, разумеется, мне), – я почувствовал теплую симпатию к Богдану Рышарду и с неподдельным дружелюбием ответил:

– Вот, значит.

Лицо Лупко покраснелось так, словно бы ответ мой был сенсацией, откровением, чем-то менее всего на свете ожидаемым.

Влажным восхищенным взглядом начал он полировать мебель, и словно бы превратился в весеннее солнце, от которого некрашенные полки, стол, стулья (и я сам) засияли, словно наполитуренные.

Мы помолчали несколько мгновений, оба счастливые и смущенно улыбающиеся.

– Я пришел, маэстро, просить у вас интервью. Я редактирую литературный ежеквартальник слушателей Высшей шелководческой академии (ВША – прибавил он с лукавой улыбкой). Журнал наш называется «Зови нас, рань!» и...

Название журнала столь озадачило меня с фонетической стороны, что я прервал Лупко и попросил написать последнее на бумаге. Несколько успокоенный увиденным, я поинтересовался программой журнала, его содержанием, целями и тому подобным, то есть абсолютно не имеющими для меня значения вещами.

Литератор Богдан Рышард откашлялся, малость придвинул стул и с воодушевлением начал излагать:

– Нашей целью, маэстро, являются красота и дух. Мы верим в лучезарное будущее, в победу добра и солнца. Наши идеалы: правда, вера, искусство и сила. Долой слабость! Долой маразм! Мы стремимся к новой заре! Человечество должно возродиться, омытое в кринице истины и духа! Серая повседневность обязана исчезнуть с лица земли – мы заменим ее царством духа и красоты.

На благородном лице розового от природы Лупко проступили пылающие помидорные пятна; левой рукой он темпераментно маневрировал между сердцем и потолком.

Программа ежеквартальника мне очень понравилась. Царство красоты и духа было ведь и моей тайной мечтой. Поэтому я спросил, каким образом ВША реализует свои намерения.

Оказалось, что очень просто. Каждый квартал будет выходить по номеру «Зови нас, рань!», в каковом будет прививаться человечеству вера в красоту, в дух и в лучезарное будущее. С помощью идеалов, истины, искусства и могущества будут изгнаны из мира слабость и маразм, после чего все начнут стремиться к заре – и народы автоматически возродятся в кринице истины и духа. Тут-то исчезнет серая повседневность, а затем уже настанет царство духа и красоты.

Не скрою – я загорелся этими идеями. Ведь все было ясно и без долгих слов... подумать только, человек веками мучается, трудится, ищет новых дорог, проглатывает сотни книг, но все более погрязает в сомнениях и внутреннем разладе. А между тем вот

этакий Богдан Рышард с молниеносной быстротой овладел совокупностью проблем и загадок, наметил себе чудесную цель, изыскал простые средства для ее достижения и – в орлином полете – устремляется к победе.

– Чем же я могу быть вам полезен? – спросил я.

– Мы просим, маэстро, интервью! Мы ждем, чтобы со страниц нашего ежеквартальника прозвучали сильные мужские слова...

– Пожалуйста, задавайте вопросы.

Лупко вытащил из кармана блокнот и карандаш.

– Что маэстро думает о красоте?

Я не колеблясь ответил:

– Верю в лучезарное будущее красоты.

– Великолепно! Великолепно! – шептал Лупко, записывая небывалый мой ответ.

– А о духе что вы думаете, маэстро?

– Дух – это сила. Истина духа и веры должна светить человечеству, а дорога к ней ведет через золотые врата искусства.

Лупко от восторга потерял рассудок.

– Верно! Верно! – говорил он горячим, заклинательским шепотом, записывая мои слова. – А каковы, маэстро, должны быть идеалы человечества?

– Идеалами человечества должны быть сила и вера в лучезарную зарю рассвета! Народам следует возродиться в кринице истины и духа, а лозунгом их должна стать вера в то, что маразм и слабость исчезнут с лица земли, омытые рассветными лучами духа и силы.

Лупко плакал. Из пылких, горящих глаз его слезы стекали на помидорные пятна, а последующие капали на блокнот, испещренный нервическими буквами.

– Ну не чудотворно ли, ну не чудесно ли, – воскликнул он, – что вы, маэстро, понимаете все и чувствуете, как мы! Ведь мы же не сговаривались! Ведь из ваших уст, маэстро, я услышал подтверждение наших идеалов! Да! Мы тоже веруем в лучезарную победу духа! Наши идеалы идентичны: искусство, истина и сила! Мы устремляемся вместе с вами к новой заре!

– Вместе, юные друзья! – крикнул я. – Да здравствует дух!

– Да здравствует!!! – завыл Лупко уже в трансе, уже в экстазе, уже мой навеки.

– А теперь – водяры бы, девок бы, надраться бы, трах-тарарах бы! – рычал я, как безумный, самозабвенно вознеся десницу к потолку.

– Да! Да! – кричал Лупко в идеалистическом помрачении. – Вместе! Водки! Девки! Трах-тарарах! Надраться! К новой заре! К рассветам!

Возвращались мы с Бодей в лучезарном сиянии новой зари. Было семь утра.

Бодя плелся потрепанный и помятый.

Наконец он пробормотал:

– Слышь, Юлька!.. А может, на вокзале продадут?

Как известно, железнодорожные буфеты открыты круглосуточно и без перерыва, а с недавних пор стали продавать там и спиртные напитки.

1931

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ «РАСОВОГО ВОПРОСНИКА»

Б. В. в городе. Бабушка моя с отцовской стороны происходила из франкистов^[1], дедушка был арийцем, хотя и пил пейсаховку. Дед со стороны матери был незаконным сыном выкреста и арийки, которая по матери происходила из евреев, а по отцу из поляков. Стоит ли мне теперь жениться на дочери некоего ксендза, бабка которого со стороны дедушки была немкой, а дедушка со стороны матери сыном еврейки, происходившей от смешанного брака еврея и иудейки, – и рассчитывать, что пойдут дети? Неважно какие, лишь бы мои.

Ст. Ц. в Ясле. У меня четверо детей; пара тройняшек и еще старший – тоже из близнецов. Касательно первой тройни (две девочки) у меня нет никаких сомнений, потому что я хорошо помню, что их отцы были арийцами, но вышеназванный близнец происходит, по-моему, от смешанной комбинации, поскольку случилось все после вечеринки местного союза зубных врачей, на которую приезжали велосипедисты из Тарнополя. Как быть?

Р. Кр. в Кутне. Отец мой – сын армянина и гречанки – родился в Швеции, но всю жизнь прожил в Португалии, где женился на дочке еврея, мать которого была чешкой, а отец народным демократом. Сам я появился на свет в Казани, где родители выступали в цирке, но сейчас живу в Кутне и женился на проезжей японке, дочке манджура и югославянки. Почему же тогда мой маленький сын не выговаривает «кукуруза»?

З. М в Варшаве. В прошлую среду я вышла на Маршалковскую и попался мне приезжий гость, который пообещал мне любовь до гроба, и мы сошлись на десяти злотых. А когда пришли в отель «Капри» на улицу Видок, то швейцар, в печенку долбаный, перед гостем меня осрамил, что шас, мол, католика для понта привела, а так сплошь еврейчиков водит, потому как он, паразит, злится на меня с тех пор, как я ему процент снизила, и такими враками меня перед польским гостем замарать хотел. А гость был в крагах и вообще пьяный в дупу, разве что очень спешил на поезд. Но как все это услышал, то говорит, что я, говорит, не стану, говорит, после всех этих еврейских (и слово нехорошее употребил) свою расу марать, потому что, говорит, я есть истинный народовец и уж газеты-то читаю. И ушел в номер с жирной этой Ройзой Шпинт, которая – лахудра – католическую клиентуру завела и евреями брезгует. Вот я и спрашиваю, кто мне десять злотых отдаст?

К. Лёвенберг из Пултуска. Девичья фамилия моей матери – Лёвенбаум, бабушки – Лёвенштейн, прабабушки – Лёвенберг, а прапрабабушки – Лёвенфельд. Что придумать, чтобы ребёнку это не передалось, если учесть, что жена моя происходит из семьи Лёвенгольдов?

1933

Ī adāatā nī īteurelā Anāda Yīī aey

УЧЕБА

Nei oey I ee

1.

У каждого случаются в жизни, по крайней мере, два-три мгновения совершенного блаженства, и мгновение, если не совершенного, то почти что совершенного блаженства Юне виделось так: она в колледже входит на урок латыни. Городское февральское утро. Аудитория в огромном унылом здании – пусть не небоскребе, но над церковным куполом оно высится, – окно аудитории глядит на кирпичный сумрак колодца. В нос ей шибает запах спитого кофе из близлежащего кафетерия. На Юне новое платье с длинными рукавами и лакированным пояском, и рукава, и пояс дают ощущение свободы, утверждают в выборе судьбы. Сверх того, из всей группы она одна знает, чем отличается синекдоха от метонимии. Первая – это часть, обозначающая целое, вторая – обозначение предмета через его признак. Тело ее – комплект изящно сочлененных костей. Лицо неказисто вдвойне: и оттого, что наивно, и оттого, что ничем не примечательно. Ум ее полон Горацием – остроумие, сатира, бессмертие, и это просто восторг, и Катуллом – птенчики, любовники, тысяча поцелуев и снова тысяча поцелуев, которые не сглазить злему завистнику^[1], – а это уж такой восторг! Юна пока никого, кроме родителей, не целовала, но она интеллектуалка и наследница всех своих ученых предшественников. Преподавателя зовут мистер Колли. Он – новое воплощение Роджера Ашама^[2]. Мистеру Органскому – тот никогда не готовит уроков и путается в падежах – он не дает спуску. Мистер Колли невероятно строгий и взыскательный. Требуется точности во всем. Когда он отворачивается, мистер Органский сплевывает. Класс такая бесшабашность ужасает.

– Вы опоздали, – мистер Колли не скрывает радости. Он никому не прощает опозданий, но не может сдержать восторга, когда Юна наконец появляется в дверях. Урок он ведет исключительно для Юны.

– Не откажите просветить мистера Органского, почему нельзя употреблять винительный падеж с тем глаголом, который я взял на себя труд проспрягать для него на доске. Вы не сообразите помочь ему, мисс Мейер?

Мистер Органский невозмутимо утирает слюну с губ. Он иностранец и ветеран, годом старше мистера Колли, у него есть любовница, отчего мистер Колли, зная об этом, содрогнулся бы. При всем при том мистер Органский не питает к Юне недобрых чувств; сама же она сейчас подталкивает повыше сползшие на кончик носа очки. Мистер Органский жалеет Юну: она ужас до чего тощая – ни дать ни взять узница концлагеря.

– Он требует родительного падежа, – говорит Юна и думает: остановись, мгновение, пусть мир навек останется таким!



Лишь кучка малоупотребительных глаголов – кто их вообще помнит? – требует родительного падежа. Юна принадлежит к числу тех избранных, кто помнит. Какая высокая и славная судьба ей предопределена – у нее просто дух захватывает! Что за ум у нее – ну как не умиляться такому уму! Вот какой Юна была в восемнадцать.

В двадцать четыре она не изменилась к лучшему. К этому времени она уже магистр, специализируется по античности и без малого доктор философских наук: ей всего-то и осталось что написать диссертацию, будь она неладна. Тема диссертации – кое-какие этрусские находки на юге Турции. Интерес они представляют в первую очередь из-за некоей странности: все, как одна, найденные там богини – левши. Юне – а она правша – просто необходимо присутствовать на раскопках, она поедет туда, как только в инстанциях утвердят обещанную ей Фулбрайтовскую стипендию. Никто не сомневается, что стипендию ей дадут, Юна тем не менее считает, что она в тупике. Стоит лето. Руководитель ее диссертации с женой Бетти и сыновьями Брюсом и Брайаном сняли коттедж на острове Мартас-Виньярд. Преподаватели помоложе арендовали дом на косе Файр-Айленд. Юну ни те ни другие не пригласили. Кафедра весь день пустует, на улице ревет отбойный молоток, отчего в ящиках стола подпрыгивают скрепки, и Юна принаравливается коротать день в кафетерии при колледже. За шесть лет кофейный дух окреп – он то и дело перебивает сигаретный запах, – чего никак не скажешь о Юне. Она все еще думает, что кофеин ей вреден, говорит, что терпеть не может губную помаду потому, что раскрашивать себя, не довольствуясь красками, которыми тебя наделила природа, – варварство, но главным образом потому, что считает каменноугольную смолу опасной.

Вот из-за этого-то Розали и привлекает ее внимание. Розали из тех положительных, голубоглазых толстушек с пальчиками-сосисками, что появляются на свет, не иначе как протрубив десять, по меньшей мере, лет социальным работником. Она окручивает большую голову жидкой косицей, и это не располагает к ней, зато она читает «Совершеннолетие в Самоа»^[3] в бумажной обложке, а вот это к ней располагает, притом что девушки вокруг подравнивают или сравнивают ногти или подаренные женихами кольца – кто что. Но невесты тут ни при чем, Юна ощущает, что упускает что-то в жизни вовсе не из-за них – их она лишь презирает. Не сомневается: они выскочат замуж за торговцев ночнушками или счетоводов из Школы делового администрирования; ни одной из них не светит поехать в Турцию изучать леворуких этрусских богинь. И тем не менее она в унынии. Жизнь ее видится Юне донельзя дюжинной: сейчас практически все ее знакомые знают разницу между синекдохой и метонимией (раз ты в аспирантуре, иначе и быть не может), и это грустно, но уже не важно. Все не так уж важно – вот в чем беда. А вот что еще хуже: у нее есть жуткая тайна – тема диссертации ее не слишком-то увлекает,

и это ее страшит. Страшит Юну и дизентерия – в Турции ее подхватишь в два счета, хоть она и пообещала матери, что будет кипятить все подряд без разбору. Родиться бы дурой, тогда бы ей одна дорога – замуж, и добиваться Фулбрайтовской стипендии было бы незачем.

Розали тем временем доходит до девяносто пятой страницы и, не глядя, отхлебывает лимонад; когда в соломинке громко хлюпает, она понимает, что лимонад допит, и отставляет стакан. Соломинка, хоть и примятая, остается незапятнанно-желтой.

Юна – вид запачканных помадой соломинок ее коробит – сочла, что с Розали стоит поговорить: не исключено, что она небезынтересная.

– Ты же понимаешь, что читать Маргарет Мид – пустая трата времени, – начинает Юна. – Культурная антропология не знает такого понятия, как уровень, – говорит она для затравки, чтобы втянуть Розали в спор, – вот в чем ее изъян.

Розали ничуть не удивляет, что к ней обратились вот так, с бухты-барахты.

– В этом-то и суть, – говорит Розали. – Так и должно быть. Относительность культуры. Что есть, то есть. Что запрещено в Нью-Йорке, разрешено в Занзибаре.

– Решительно не согласна, – говорит Юна. – Это безнравственно. Возьмем убийство. В любой культуре убийство запрещено. Я верю в совершенствование человека.

– И я верю, – говорит Розали.

– Признай, что твоя точка зрения нелогична. Я что хочу сказать: раз ты веришь в совершенствование человека, ты должна верить, что уровень совершенства существует и все народы к нему стремятся.

– Никто не совершенен, – Розали скисает.

– Это не так.

– В таком случае назови какой-нибудь образец совершенства.

– При чем тут это, – говорит Юна как можно серьезнее, на какую способна. – Пусть в моем кругу таких людей нет, но это вовсе не значит, что их вообще нет.

– Да не может их быть.

– Может, очень даже может. Нужно только волевое усилие. В теории они есть. Я – последователь Платона, – поясняет Юна.

– А я – безбожник, – говорит Розали. – Так по-русски называют атеистов.

Юна прямо ахает от восторга.

– Ты знаешь русский?

– Одна моя подруга, она сейчас беременна, весь прошлый год учила русский.

– Скажи что-нибудь еще.

– Товарищка. Больше я ничего не знаю. Эти слова я знаю, потому что эти двое называли меня так.

– Двое? – придирается к слову Юна. Она умеет придраться к какой-нибудь мелкой подробности, чтобы вышутить собеседника. – У тебя что, две беременные подружки и обе говорят по-русски?

– Из этих двоих один – мужчина.

– А-а, – тянет Юна: по ее мнению, нет ничего скучнее женатых пар. – И как это ты сподобилась сойтись с таким старичьем?

– Ей двадцать три, а ему двадцать два.

Юну это впечатляет, чтобы не сказать пугает.

– Выходит, они моложе меня. Я что хочу сказать: слишком они молодые, чтобы так себя закабалить. Им, как я понимаю, не удалось получить серьезного образования?

– Мэри – юрист, а Клемент... впрочем, если ты такая противница Мэри Мид, я не скажу тебе, чем занимается Клемент.

– Скажи, – просит Юна.

– Клемент учился у Мэри Мид, защитил магистерскую по антропологии в Колумбийском университете, а потом взял да и переключился на религию, вернее, на мистицизм и перешел в Объединенную теологическую семинарию[4]. Им пришлось перебраться в Коннектикут, чтобы Мэри, как родит, смогла начать работу над докторской в Йельской школе права[5]. Вообще-то, – Розали скребет пальцем-сосиской по «Совершеннолетию в Самоа», – это книга Клемента. Он дал ее мне два месяца назад, но я не видела их целую вечность, собираюсь к ним в ближайший уик-энд, и без книги лучше к ним носа не казать. Они терпеть не могут, когда книги берут без отдачи. Даже завели картотеку, прямо как в настоящей библиотеке, и, когда книгу возвращают, задают вопросы – хотят удостовериться, что книгу взяли не просто так, от нечего делать.

– И ты хочешь нахвататься перед выходными? – заключает Юна. И понимает: она завидует. Эта штука с картотекой приводит ее в восторг. – По-видимому, они потрясающие. Я что хочу сказать: по-видимому, они чудо что такое.

– Да, они ничего, – без особого энтузиазма соглашается Розали.

– А как их зовут? Как знать, вдруг они прославятся? – Юна неизменно берет на заметку людей, которые могут прославиться, – для нее это своего рода капиталовложение: так другие собирают произведения искусства. – То есть как их фамилия?

– Чаймс.

– Чаймс. Красивая фамилия.

– Раньше их фамилия была Хаймс, но они ее изменили, чин-чином, по закону.

– Разве это не еврейская фамилия? – спрашивает Юна. – А ты вроде бы сказала, что он перешел в Объединенную теологическую семинарию.

– Они – люди современные. Я им везу окорок килограмма на два. Слышала бы ты, что Клемент говорит про Хайдеггера и Холокост.

– Хайдеггера и что?

– Вгорлекость, – говорит Розали. – Клемент остроумный прямо как не знаю что.

2.

Мгновение совершенного блаженства настает как раз тогда, когда Юне становится ясно, что старый мир выдохся и никакие откровения ее там не ждут. А настает это мгновение – она обещает себе, что никогда его не забудет, – на берегах штата Коннектикут днем, в половине пятого. Август в разгаре. Солнце походит на белую, гладкую, без единого изъяна щеку. Невдалеке, у скалы, смахивающей на уютно прикорнувшую старую псину, пузырится вода. По зазубринам, которые выгрыз в песке прибой, бешено носится живой щенок. Хозяева щенка, чета на шестом десятке, собирают вещи – готовятся уйти с пляжа. Они задерживаются, чтобы напоследок кинуть щенку мячик – мяч взлетает высоко, бедняга Пятнаш щелкает зубами, но промахивается, и Клемент, отложив «Короля Лиру», завораживает мяч налету, мяч словно бы замирает – дожидается, пока Клемент не встанет и не сорвет его с солнечной кромки.

– Молодчага, – говорит муж, – хватка у тебя что надо. А ну, кинь мне.

Мяч летает туда-сюда, от незнакомца к Клементу и обратно. Жена незнакомца хвалит Клементу.

– А ты, сынок, парень ладный, – говорит она. – Вот только эта волосня тебя портит. У меня есть карточка отца, его сняли полвека назад, так вот у него там такие же свислые усы. На кой ляд тебе, совсем молодому парню, такие усы? Послушай моего совета, сынок, сбрей их.

Клемент, усмехаясь, возвращается на свою подстилку – как он терпим, а ведь насколько он выше этих людей! Как он приветлив с ними! Клемент среднего роста, он похож на молодого Марка Твена, ляжки у него толстые, у глаз уже обозначаются морщины, что король, что раб – для него все равны. Юна всего час в Коннектикуте, а он с ней запросто – можно подумать, они закадычные друзья и зубрили сферическую тригонометрию на одной парте. Мэри, та не такая сердечная. Случилась некая неувязка: из телефонного разговора с Розали у Чаймсов и вправду сложилось впечатление, что она привезет к ним турчанку. Мэри ожидала увидеть турчанку чуть ли не в чадре, а тут на тебе, тощая – кожа да кости – Юна в купальнике. У Чаймсов кто только не бывал – и индийцы, и китайцы, и малайцы, и чилийцы, и арабы (этих особенно много: в израильском вопросе Чаймсы держат сторону арабов), а вот турок до сих пор не было. Юна обманула их ожидания, но так как она об этом не догадывается, ничто не мешает ей млеть от восторга. Они возвращаются к «Королю Лиру» – читают вслух. Экземпляров всего три – у Мэри и Юны один на двоих. Смотреть на Мэри Юна не осмеливается – так выразительно она читает, – лишь краешком глаза видит ее зубы – решительный ряд очень крупных зубов, – замечательные зубы, таких ни у кого нет, представить, чтобы в таких зубах был изъян, просто невысказано. Младенец, располагающийся под ее просторным балахоном, тоже крупный и тоже решительный, и Мэри, чтобы он ее не опрокинул,

тяжело опирается на локоть – русалка, да и только. Мэри – красавица. У нее идеально очерченный нос, глаза со скептическим прищуром, тяжелые веки опускаются медленно, как ставни в мезонине. А вот смеется она, как ни удивительно, совсем по-детски. Юне, пока очередь читать доходит до нее, не по себе, но потом она приободряется: Розали играет из рук вон плохо. Розали читает за Гонерилью, Юна за Регану, Клемент за Корделию, Мэри – за короля Лира.



– «Дочка, не своди меня с ума... – взывает Мэри к Розали, – ты моя болезнь, нарыв, / Да, опухоль с моею гнойной кровью[6]», – и они визжат от смеха. Пронзительнее и дольше всех смеется Мэри.

– В десять лет Мэри ходила в специализированную театральную школу, – поясняет Клемент.

– Клемент поет, – оповещает Юну Мэри. – Нам надо бы разыграть какую-нибудь пьесу с песнями. У него дивный баритон, но он заставляет себя упрашивать.

– В следующий раз разыграем «Оперу нищих»[7], – дразнится Клемент.

Над их головой пролетает ветерок, взметает пелену песка.

– Пора домой, зайчик, ты замерзнешь, – говорит Мэри Клемент.

Перевалившись через толстуху Розали, он чмокает Мэри в розовую пятку, и тут-то, пока они встают и, захлопнув Шекспиров, вытряхивают песок из карманов, Юне является ослепительное видение. На небосводе – все золото мира. Солнце, чуть поостыв, опускается. Они идут к железной лестнице, ведущей к летнему обиталищу Чаймсов, и Юнину грудную клетку распирает тайна. Возможности ее беспредельны – к ней возвращается давно утраченная вера в себя. Она словно бы причастилась к Красоте. Магия восторга забирает ее в полон. Она влюбляется в Чаймсов, в них обоих, они для нее нераздельны. Да, да, в обоих, нераздельно!

Они – само совершенство. В них совершенно всё. Никогда еще Юне не доводилось видеть такой чарующей квартиры: тут всё, как надо, как и должно быть у влюбленных интеллектуалов. На стенах не картины, а два куса гобеленовой ткани аляповатой расцветки с абстрактным узором – их сшил Клемент. Дверь ванной, куда люди тщеславные вешают – ничего глупее и придумать нельзя – зеркало, Мэри расписала на манер мексиканских фресок с обертонами Дали. А вдоль стен кухни, спальни, гостиной и даже тесного коридорчика тянутся ряд за рядом полки, прочно сколоченные Клементом. Клементу, объясняет Мэри, ничего не стоит соорудить книжный шкаф максимум за два

часа. Розали тем временем толчется в кухне, смотрит, готов ли окорок, его поставили в духовку еще утром.

– Готов? – кричит Мэри из ванной.

– Еще минут пятнадцать, и все, – говорит Розали.

– В таком случае я приму душ. Розали, ты за мной. Потом Юна. За ней Клемент.

Юна тем временем бредет вдоль полок. Вдоль неисчислимых сокровищ. У Чаймсов есть первое нью-йоркское издание полного собрания сочинений Генри Джеймса. Жизнеописание Фрейда Джонса[8]. Книга Кристмаса Хамфри[9] о буддизме. «Мемуары страны Гекаты»[10], метр с лишним произведений Бальзака, том Сафо с параллельным переводом на мандаринское наречие китайского, под подоконником все пространство занимают труды по высшей математике. Имеются у них и несколько историй Англии, и множество книг Фихте и Шеллинга. Половину стены занимают книги на французском.

Между экземпляром «Das Kapital» и невзрачным руководством под названием «Как стать электриком для домашних надобностей за полчаса» Юна обнаруживает ту самую картотеку, о которой рассказывала Розали. Картотека умещается в узеньком картонном ящичке из «Вулворта»[11].

– Просто блеск что за идея, – говорит Юна, перебирая карточки. Алфавитный порядок – ее слабость.

– Мы как раз начали составлять картотеку нашей коллекции пластинок. У нас тысяча пластинок, не меньше, и мы хотим всю эту уймищу каталогизировать, – говорит Клемент.

Хлопает дверь ванной.

– Твоя очередь, – кричит Мэри.

На памяти Юны никто не принимал ванну так быстро. Мэри выплывает из ванной в китайском халате, длинные темные волосы подколоты. Благоухая сосновым лесом.

Розали говорит, что не видит надобности принимать душ: она и часа не провела на пляже.

– Ты неисправима, – сетует Мэри. – Розали приходилось долго уещать, чтобы она приняла ванну.

– Это когда мы жили в другой квартире, – говорит Клемент.

– Это когда вы жили в моей квартире, – кричит Розали из-под душа. Дверь она, как и Мэри, оставляет открытой.

– Квартира Розали была дешевле нашей, ну, мы и переехали к ней, – говорит Мэри. – Мы всего два месяца как живем отдельно.

– Розали недурно готовит, – говорит Клемент, – но салаты не по ее части. Она мелко-мелко рубила все подряд. Сначала салат, потом огурцы...

– В кожуре огурцов нет ничего питательного, – поучает Мэри, – но мы ее не выбрасываем, используем для косметических целей. Бедняга Розали, после того как мы переехали, осталась один на один со своим изрубленным в лапшу салатом.

– С нарезанными так крупно, что не засунешь в рот, помидорами, – говорит Клемент, – с перезрелыми оливками без косточек.

– Бедняга Розали, – кричит Розали. – Осталась один на один с дырявой дверью кладовки.

– Мы проделали в двери дыру для динамика нашего проигрывателя, – объясняет Клемент.

– Они всегда дырявят двери кладовок, – вклинивается Розали.

Юна, донельзя законопослушная, втайне ужасается таким великолепным пренебрежением к правам квартирохозяина. Но когда Розали выходит, Юна поспешает в ванну: не дай Б-г, Чаймсы причислят и ее к тем, кого не загнать в душ.

После ужина Клемент спрашивает Юну, что она хотела бы послушать, и Юна, ничего в музыке не смыслящая, робея, называет «Микадо»[\[12\]](#).

– Вам «Микадо» не противопоказан? – беспокоится она.

– Нам ничто не противопоказано, – говорит Клемент. – Бах, джаз, блюз...

– Учти, – наставляет Юну Розали, – Чаймсы – люди возрожденческие, широкие.

– Особенно я. – Мэри прыскает совсем по-детски – такая у нее манера, ни с того ни с сего плюхается на пол по-лягушачьи и пыхтит, как паровоз; Клемент меж тем считает до пятидесяти.

– Это для обезболивания родов. Так предвосхищаются схватки, – говорит он и ставит «Микадо».

Мэри крутит ногами в воздухе.

– Слышь, зайка, а Юна сказала, что поможет нам с каталогом пластинок.

Юна вспыхивает. Ничего такого она не говорила, но такая мысль у нее была, вернее, она надеялась, что ее попросят именно об этом. Как только Клемент догадался, уму непостижимо.

– Чур, не я, – Розали растягивается на диване.



Розали – жутко ленивая и некомпанейская, решает Юна и, желая показать Чаймсам, что она совсем не такая, опускается на пол рядом с Мэри и изговляется приступить к делу. Мэри дает Юне пачку библиотечных карточек и свою авторучку, а Клемент вынимает пластинки из конвертов и читает дату записи, номер по Кешелю[13] и всевозможные заковыристые музыкальные сведения, о которых Мэри слыхом не слыхивала.

– Мы решили индексировать пластинки путем перекрестных ссылок, – говорит Мэри. – По фамилиям композиторов в алфавитном порядке, по названиям сочинений согласно с датой создания, ну и еще по нашему списку – там пластинки будут пронумерованы в соответствии с датой покупки. Так будет ясно, поцарапана пластинка из-за того, что ее часто слушали, или из-за дефектов проигрывателя.

Юна, не понимая ни слова, ничтоже сумняшеся, пишет себе и пишет, но, в конце концов, Клемент обнаруживает, что ей, кроме алфавитного каталога, ничего поручить нельзя.

– Раз так, пусть составляет библиографический указатель, с этим она вполне справится, – предлагает Мэри. – Ты читала «Путь в Ксану» Джона Ливингстона Лоуза?[14] Так вот, Клемент пишет в этом роде. Он работает над источниками мысли Пауля Тиллиха[15].

Юна говорит, что это должно быть очень интересно, но разве можно обнаружить источники мысли, если не умеешь читать мысли?

– Я исследую все книги, которые Тиллих когда-либо прочел. Задача крайне сложная. Мы с ним постоянно переписываемся.

– Как, он посылает тебе письма? – Юна изумлена. – Сам Пауль Тиллих, философ?

– Нет, мы прибегаем к посредству почтовых голубей. И речь идет о Пауле Тиллихе, президенте профсоюза плотников, – говорит Клемент. – Г-споди ты Б-же мой, девушка, тебя надо учить и учить.

– Особенно по библиотечной части, – язвит с дивана Розали.

Юна, однако, загорается.

– Вот это настоящее дело. Мировой важности. Настоящая наука!

– Тебе что, не нравится то, чем ты занимаешься? – спрашивает Клемент.

– Не нравится. Решительно не нравится. Мне опостытели латынь и греческий, мне плевать на этрусскую Афродиту, и я до смерти боюсь подхватить в Турции дизентерию, – откровенничает Юна. – Я завидую вам обоим, правда завидую. Вы одержимы, вы идете к цели, занимаетесь, чем хотите, живете полной жизнью.

Мэри наставляет ее:

– Ни в коем случае нельзя делать то, чего не хочешь. Нельзя идти против своего естества.

– Это все равно что идти против Б-га, – говорит Клемент.

Розали вскакивает с дивана.

– Б-г ты мой. Если мы опять взяли за Б-га, я еду домой.

– Я чувствую, – говорит Клемент, – что телеологический импульс во вселенной несомненно включает человека.

Розали запускает Лорда Главного Палача [\[16\]](#) на всю мощность.

– Я тебе вот что скажу: если ты хочешь написать диссертацию, – говорит Мэри, – потому что быть доктором философии модно или престижно, этого не следует делать.

– У меня такие сногшибательные рекомендации, – снижает Юна. – И эту паршивую стипендию мне, скорее всего, дадут.

– Тебе не следует писать диссертацию, – не отступается Мэри.

Юна ни о чем таком и не помышляла. Логика в этом умозаключении есть, но ей и в голову не приходило, что можно принимать логику настолько всерьез, чтобы жить согласно ей.

– Но тогда мне нужно заняться чем-нибудь взамен. А чем, я не знаю, – возражает Юна.

– Подыщи себе парня, выходи замуж, – подает голос предательница Розали.

Она ничуть не лучше других девиц, которые приходят в кафетерий похвастаться обручальными кольцами. Небось Розали и сама мечтает о кольце, да где ей: кто на нее, такую толстуху, позарится. Розали не красит губы только потому, что Мэри не красит. А Юну потянуло к Розали только потому, что Розали читала книгу Клемента. Какая притвора! Какая лицемерка! Розали – это ворона в чаймсовских перьях. Юна презирает себя до глубины души: эта хитрованка втирала ей очки, а она ей верила. Она поражается Чаймсам: как они могли терпеть около себя Розали, она же такая заурядная. Просто удивительно, что они не порвали с ней давным-давно. Еще одно доказательство их невероятного превосходства. Они всегда знают, чего не следует делать.

– Суть уж никак не в замужестве, – рявкает Клемент.

Юна видит, что Розали раздражает его так же, как и ее, но он топит раздражение в философствовании.

– Причина лежит не на поверхности, а в глубине. Поехать в Турцию – решение поверхностное. Выйти замуж – тоже. Тогда как самореализация требует решения, необходимого для самореализации, ты же это понимаешь, не можешь не понимать?

Юна не так уж уверена в этом.

– Но поступи я так, я не знала бы, чем заняться, – взывает она.

– При экзистенциальной дилемме нужно не действие, а отказ от действия. Бездействие. Стаз. Думай не о том, что следует делать, а о том, чего делать не следует. Розали, да прикрути же ты звук, ничего не слышно. Я что хочу сказать, – продолжает Клемент, – прекрати смотреть на мир с точки зрения самоудовлетворения. Это – Б-жий мир, не твой.

– Видит Б-г, не мой, – говорит Розали.

Розали убавляет звук, и теперь Нанки-Пу[17] пищит, как комар; она, по-видимому, вполне незлобивая, но бесхребетная: делает что ей кто ни скажи.

– Будь это мой мир, Клемент уже давно продырявил бы его.

Юна ошеломлена. Наконец-то свежий, незамутненный взгляд! Верно, ой как верно, она занеслась, вечно думает о духовном самоудовлетворении. До чего же Клемент умный, он видит ее насквозь. При всем при том она даже несколько польщена: перед ней никогда еще не стояла экзистенциальная дилемма.

– Для меня всегда много значили карьерные соображения, – соглашается она. – Пожалуй, больше всего мне хотелось добиться признания или чего-то вроде.

– В Турции тебе его не добиться, – предостерегает ее Мэри, но теперь уже по-доброму.

– Ты найдешь там могилу, как те леворукие богини, – говорит Клемент.

Юна фыркает. Нет, они – само совершенство!

– Послушай моего совета, – говорит Розали. – Защити диссертацию, иди преподавать.

– Розали хочет сказать: будь как Розали, – говорит Клемент.

– Я все брошу, – говорит Юна, но судьбоносный момент проходит незамеченным: Мэри неожиданно хлопает себя по затылку и вопит:

– Завтрак! Клемент, как быть с завтраком? В доме хоть шаром покати.

– Поутру съезжу на велосипеде на рынок.

– Давайте, я съезжу, – предлагает Юна: ее пленяет картина – она крутит педали, перед ней корзина с продуктами. Так она может стать для них почти что своим человеком.
– Я встаю очень рано.

– Вдобавок и денег ни гроша, – сокрушается Мэри. – Клементу стипендию выплачивают раз в квартал, мне – раз в месяц, но только с начала семестра. Рассчитывать, что Розали привезет окорок, мы, конечно, рассчитывали, но я все деньги потратила на тушеную фасоль с солониной.

– Ты тут ни при чем, зайка. Я же купил вино позавчера – вот на что ушли деньги. Пропади все расчеты пропадом, будем пить вино!

– За Юну Мейер, – выпевает Клемент, и Юна сияет: ее бесповоротное решение все же не прошло незамеченным. – Выпьем за Юну на пороге!



– Беды! – мурлычет Розали.

– Самореализации, – возглашает Клемент, и Юне чуть ли не стыдно от того, как ей приятно быть в центре внимания. Вино розовое, и, как кажется Юне, зарделось за нее. Мэри разливает вино по красивым бокалам и объясняет, что они произведены в Африке, там только что создана стеклодувная промышленность, поэтому, покупая их, оказываешь помощь нарождающейся экономике, ну и плюс к тому покупаешь задешево – бокалы-то вон какие красивые. И тут у них, у всех четверых, такое веселье начинается! Они включают проигрыватель, и Клемент – его всего-то разочка два-три пришлось попросить – поет комическую переделку «Дороги в Мандалей»^[18] из старого фильма. Поет он что твой Нельсон Эдди^[19], только остроумный. Потом он приносит гитару из ванной – там для нее отведен специальный крючок, рядом с вешалкой для полотенец, – и они поют хором «На вершине Смоки», «Бывало, завязывала фартучек туго», «Джимми Крэк-корн», «Когда холостяком я был» и много чего другого, так что к тому времени, когда Клемент расставляет раскладушку для Юны, а Мэри надевает на диванную подушку чистую наволочку для Розали, Юна счастлива как никогда, а потом и вовсе случается чудо что такое. Она до того растрогана, до того расчувствовалась, что чуть не плачет. Когда свет выключили и все уgomонились, Клемент и Мэри в пижамах тихо выходят из своей спальни и целуют Юну и Розали, сначала одну, потом другую, так, словно это их любимые дети.

– Спокойной ночи, – шепчет Мэри.

– Спокойной ночи, – шепчет в ответ Юна.

– Спокойной ночи, – говорит Клемент.

– Спокойной ночи, – говорит Розали, и, хотя в темноте не видно, что она головы к ним не повернула, по ее тону понятно: Розали ничем не проймешь.

– Розали, сокровище ты мое, – воркует Клемент, – не одолжишь ли пятерку на завтрак?

– У меня денег только на обратный билет, – говорит Розали, – и, судя по голосу, довольна она собой донельзя.

Юна не сомневается, что Розали врет из зловредных соображений, кто знает каких.

– Разрешите, я одолжу, ну пожалуйста, – вмешивается Юна и вскакивает с раскладушки. – Послушай, Клемент, где вы держите велосипед? Я, как встану, все привезу.

– Так не получится, – говорит Мэри, как всегда, безапелляционно. – Продукты нужны не только на завтрак: чек Клемента придет не раньше чем через неделю.

Никто уже не понижает голос.

– Прошу вас, – говорит Юна. – Мне правда будет приятно. Я что хочу сказать – я явилась к вам незваной-непрошеной, а кому это нужно – это же дырка в голове...

– То ли дело дырка в двери, – каркает Розали.

– ...а вы радушно меня приняли и вообще. Так будет только справедливо.

– Ну что ж, – сурово, прямо-таки по-отечески говорит Клемент. – Если тебе уж так хочется. Только не забудь купить яйца.

– Не забуду, – обещает Юна: ей до того не терпится провести еще день у Чаймсов, подышать одним с ними воздухом, что она долго не смыкает глаз.

3.

В начале осени Чаймсы окончательно перебираются в Нью-Хейвен, и это облегчение для всех, и больше всех для Юны: она уже было приладилась спать на диване, но потом у нее в ногах поставили детскую кроватку. Другого места для нее не нашлось. Приморская спальня Чаймсов, хоть оттуда и открывался романтический вид на волнующееся море, всего-навсего клетушка в одно окно, туда даже комодика не втиснешь, не то что детскую кроватку. А в Нью-Хейвене они подыскали квартиру в центре, дешевую и, по сравнению с прежней, чуть ли не просторную. В ней три комнаты, в одной спальня Чаймсов, в другой кабинет Мэри, в третьей, самой удаленной от кабинета, – чтобы не мешал шум – детская. Клемент приобретает подержанную ширму и ставит ее между кроватью Юны и детской кроваткой – «чтобы оградить младенца от чужих глаз», острит он.

Мэри и рожала-то на особицу – сестры в больнице в один голос сказали, что второй такой роженицы не видели. Она управилась за час, и почти никакого беспокойства

от нее не было. Мэри относит это за счет того, что она училась, как вести себя при схватках, а Клемент – он куролесит пуще обычного – смеется и говорит, что Мэри неотступно следовала трем правилам: не могу, не хочу, не стану.

Ребенок, естественно, просто чудо. На редкость красивый для такой крохи, длиннорукий, длинноногий. Мэри было безразлично, кто у нее родится – мальчик или девочка, Клемент же утверждал, что ему на случай, если он вдруг возмечтает об инцесте, нужно избыть эти мечты загодя, воплотив их в реальность: вот почему он с самого начала хотел девочку. Мэри, Юна и Клемент несколько дней спорят, как назвать девочку, и в конце концов решают назвать Кристиной^[20] в честь героини «Княгини Казамассимы». Кристина – это сочетание двух совершенств – оправдывает все Юнины ожидания, Юна взирает на нее как на нечто сакральное, касаться чего дозволено лишь изредка. Однако чуть спустя Мэри решает, что ей необходимо проводить больше времени в юридической библиотеке, и позволяет Юне катать Кристину взад-вперед по ближним к университету улицам часа два-три каждый день.

Времени Юне теперь хватает: Клемент решил не заканчивать библиографический указатель. Его переписка идет на убыль, к тому же – и это немало удивляет Юну – оказывается, что письма Клементу писал не сам Тиллих, а его секретарь. Клемент говорит, что теологи, они такие: вечно отвиливают, чего стоят хотя бы названия их книг. «Мужество быть», говорит Клемент, очень неоднозначная книга, и если уж ход мыслей Тиллиха привел к неоднозначному результату, проследить их источники и вовсе вряд ли возможно, что, он не прав, что ли? Клемент говорит, что бросил бы этот проект как бесперспективный, если бы его так не увлек собственный метод исследования. Вначале он часами печатал хитросплетенные письма касательно того или иного вопроса заскоружным ученым с фамилиями типа Нолл или Крид, но вскоре обнаружил, что мысль у него работает лучше, если он диктует, а Юна печатает под его диктовку. Впрочем, он все равно постоянно срывается с места – то помогает Мэри с ребенком, то посреди фразы бросается отнести тюк подгузников в автоматическую прачечную. Со временем Юна приспособливается заканчивать оборванные на полуслове фразы без него. И так набивает руку, что пишет письма, подделываясь под Клемента, а он их подписывает – такой у них уговор. Клемент похваливает ее, говорит, что она отслеживает источники даже лучше его. Время от времени Клемент уверяет, что она пишет очень даже недурно для не писателя, и в такие минуты она чувствует, что не так уж отягощает Чаймсов.

Юну это очень беспокоит, хотя Чаймсы и позволяют ей платить за квартиру больше их: они просто не могли ей отказать – так она их умоляла. Поначалу она старается не мозолить им глаза, напоминает по несколько раз на дню: мол, если они жалеют, что пригласили ее поселиться с ними, пусть, ни минуты не колеблясь, так и скажут. Она все еще не может поверить, что они и в самом деле хотят жить с ней. Они постоянно сравнивают ее с Розали, вспоминают, как ужасно временами вела себя Розали. Она имела привычку спать до последней минуты, а ведь понимала, как не понимать: они рассчитывали, что она приготовит завтрак, – у них обоих тогда было очень жесткое расписание, куда более жесткое, чем у этой лежебоки Розали, а если они не позавтракают, то проходят голодными до ужина. Они рассказывают множество историй про Розали, и все выставляют ее в плохом свете. Юна намеревается ни в чем – насколько это возможно – не походить на Розали: к примеру, берет за правило готовить им завтрак каждый день, притом что Мэри и Клемент, даже несколько оторопев от такого рвения, сказали, что это ничуть не обязательно. Однако Мэри при этом замечает: почему бы Юне, раз уж она все равно встает, заодно не давать Кристине ее семичасовую бутылочку – ведь ей надо будет проснуться всего на четверть часа раньше. Иногда Юне приходится подниматься чуть ли не на час раньше, но она не ропщет: всякий раз, взяв Кристину на руки, она

преисполняется благодарности – какое сокровище ей доверяют. Она знает: из Кристины выйдет нечто необыкновенное.



Кроме того, она старается помогать чем только может: ведь Клемент из кожи вон лезет, чтобы выбить для нее у семинарии что-то вроде стипендии. Это будет только справедливо, говорит он, теперь Юна выполняет практически половину его работы, пусть даже она и не вникает в суть. Клемент три раза в неделю уезжает в Нью-Йорк и всякий раз возвращается, кипя от возмущения.

– Они уверяют, будто бюджет утвержден и не подлежит пересмотру, – говорит он. Или: – Они не понимают, чтоб их черт подрал, масштаба моей работы. Говорят, деньги на младших научных сотрудников не положены никому ниже доцента. Полная чушь! Но ты, Юна, не волнуйся: мы для тебя что-нибудь выйдем.

Юна говорит, что она и не волнуется: у нее пока что есть деньги в банке – бабушка два года назад открыла на ее имя счет, и каждый год в Юнин день рождения и на праздники клала на него по семьдесят пять долларов. Мэри говорит, что Юнина бабушка умерла как нельзя более некстати.

– Бабушки больше не нужны, – говорит Клемент, – их заменили стипендии.

– Получай Юна сейчас свои фулбрайтские деньги, они бы оченьгодились, – говорит Мэри несколько более нервно, чем обычно.

– Получай Юна фулбрайтские деньги, – говорит Клемент, – она сейчас была бы в Турции, и где были бы мы? Послушай, Юна, я их как-нибудь да дожду, так что ты не беспокойся из-за пети-мети.

Стоит Чаймсам упомянуть об утраченной стипендии – а упоминают они о ней, как кажется Юне, часто, хотя на самом деле не так уж и часто, – и ее пронзает чувство вины. Стипендию, как она и опасалась, ей дали, и ее руководитель, вернувшись с Мартас-Виньярд с женой и сыновьями, пришел в ярость. Обозвал Юну дурой и дезертиршей, когда она сказала, что откажется от стипендии – и какой стипендии! – и добро б еще было ради чего. Но речь-то идет не о жизни, а всего лишь об оценке успехов, сказала Юна. Он справился: не в том ли дело, что она, как и все прочие, собралась замуж? Сказал, что он и вообще против женщин в университетах: они ничего не могут довести до конца – им нельзя доверять. Ее беда, просветил он Юну, в том, что ей слабо налечь на работу всерьез. Порой Юна задумывается: а что, если в чем-то он и прав? Она занимается хозяйством – стирает, стелет постели, нянчит ребенка (но это же не обычный ребенок), точь-в-точь как если бы вышла замуж. И хотя она вдрызг выматывается, потому что сверх всего помогает Клементу, все равно работой это не назовешь: ведь она толком не понимает, к чему

Клемент ведет. Он уже объяснил, что ему просто некогда растолковывать ей глубинную сущность своего проекта: для человека, не сведущего в философии, она слишком сложна, а без этого Юне нечего и надеяться понять, в чем стержень его замысла. Вот почему Юна может рассчитывать лишь на самую малую толику той суммы, которую он выбивает из семинарии.

Но однажды после поездки в Нью-Йорк Клемент вихрем врывается в дом и говорит, что больше он в семинарию ни ногой. Его временно отстранили.

– Но почему? – негодует Юна. Первым делом ей приходит в голову, что Клемент слишком уж рьяно ратовал за нее. – Это потому, что ты их все время доставал? Из-за денег, я имею в виду, – казнится она.

– Не мели чушь, никакого отношения к тебе это не имеет, с чего ты взяла?

– Юна, разве ты не заметила? – говорит Мэри. Она ничуть не расстроена. – Клемент мало-помалу терял веру. Он слишком много умствовал, а это первый признак.

– В конце концов, я не мог не высказаться в Систематической догматике начистоту. – Клемент с трудом скрывает гордость. – И сегодня я довел до сведения старика Ходжеса, что, на мой взгляд, ни он, да и никто из них представления не имеют о том, на какие вопросы искали ответ гностики[21]. А он возьми да и передай наш разговор декану, ну, декан вызвал меня и спросил: уж не на пути ли я в Дамаск[22]. «Дело в том, сэр, что современное духовенство, – так я ему ответил, – на мой взгляд, даже не подступилось к проблеме Троицы». И знаете, что ответил мне этот старый хамлет? «А что, если мы дадим вам годик-другой, мистер Чаймс, чтобы вы разобрались в себе? Ну а если к тому времени вы по-прежнему будете не в ладах с гностиками, не исключено, что вам будет привольнее среди агностиков». Смех, да и только. Я не сходя с места подал в отставку.

– Самое время, – говорит Мэри.

– Какое унижение! – причитает Юна. – Какой ужас!

Клемент, однако, темнеет от обиды, и до нее доходит, что она оплошала. Он уязвлен, сомнений нет.

– Ты придаешь чрезмерно большое значение статусу. Общество может почитать духовенство, но я не могу почитать общество – вот какой вывод я сделал из этой истории.

– В этом мире нельзя стоять на месте, – замечает Мэри. – Время от времени надо сбрасывать кожу.

Юна устыжается. Понимает, что жизнь с Чаймсами ничему ее не научила. Какой она была, такой и осталась. Делает все такие же скороспелые, все такие же неверные выводы, все так же нуждается в руководстве: без него ей не постичь, в чем истинные ценности.

– Да нет, Клемент, конечно же, поступил совершенно правильно, – жалко оправдывается она и видит, что зубы Мэри сверкнули: она ее простила. Какая она хорошая! Практически святая! Иногда кажется – сейчас она с тебя снимет голову, ан нет,

она дает тебе шанс: подумай еще, ты просто сморозила глупость, а вообще-то думаешь вполне здраво.

– Надо признать, – говорит Клемент, – что я не могу быть частью Системы. Но я избегал смотреть правде в глаза. На самом деле я – анархист.

– Поосторожней, – смеется Мэри. – Не то Юна решит, что ты тайком мастерешь бомбы в ванной.

А смеется она потому, что в квартире нет места, менее потаенного, чем ванная: из ее двери Клемент сладил письменный стол для Мэри.

– Пусть себе думает, что именно это я и собираюсь делать.

– Мастерить бомбу? – взвизгивает Юна, хотя ничего особо смешного в словах Клемента не усмотрела. Она порой строит из себя дурочку, только чтобы им подыграть.

– Вот именно. Бомбу под названием «Рак общества».

– А-а, так это книга, – говорит Юна, она знает: надо изобразить, что у нее отлегло от сердца – Клемент на это рассчитывает.

Тем не менее его поступок производит на нее сильное впечатление.

– Я намерен пригвоздить общество сверху донизу к позорному столбу белым стихом. Разоблачение богатых и бедных, обывателей и интеллигенции – вот что это будет, ну и плюс к тому произведение искусства. Со времен «Дунсиады»^[23] Александра Попа никто ничего подобного не создавал, – поясняет Клемент, – да и концепция Попа была далеко не такой всеобъемлющей.



Этим вечером они устраивают праздник в честь новой книги Клемента – он намеревается приступить к ней завтра же, с утра пораньше. Они отвозят Кристину в парк и разжигают у ее коляски костер из библиографического указателя. Клемент и Мэри одну за другой швыряют тетради в огонь, и Юне становится грустно: сколько трудов месяц за месяцем на них положено. Юна видит, как сворачиваются и обугливаются испещренные ее почерком страницы – бесконечные выписки из Бубера^[24], Нибура^[25] и Бультмана^[26], Карла Ясперса^[27] и Кьеркегора^[28], которые она делала для Клемента. Она проштудировала всех этих головомомных философов – а зачем спрашивается?

– Ведь и с тобой было то же самое – разве нет? – а ты меж тем склонна забывать об этом, – говорит Мэри.

От Мэри ничего не укроется. Она всегда знает, когда Юнины мысли утекают куда-то не туда.

– Надо учиться расставаться с прошлым, пусть даже тебе и говорят, что это признак неустойчивости характера. Помнишь тот вечер, когда мы пили за тебя? Когда ты с ходу отказалась от Фулбрайта, – говорит Мэри, – и стала для нас и впрямь своим человеком.

Юна не верит своим ушам. Никогда еще Мэри не хвалила ее так. Заслужить у нее похвалу нелегко.

– Но это же совсем другое, – возражает Юна, она прикидывает: не означает ли похвала, что в ней произошел перелом к лучшему, и в то же время опасается – не подозревает ли Мэри, что она считает Клемента неустойчивым. Если так оно и есть, то это клевета, притом постыдная, и Юне ее не спустят. – Я-то ведь ничего не сжигала, – пищит Юна.

– А вот и нет, ты сожгла за собой корабли, – говорит Клемент: он за словом в карман не лезет.

Она, пожалуй, еще не видела, чтобы он так ликовал: все происходит совершенно неожиданно, и даже Юне понятно, как он рад свалить с себя эту теологическую тягомотину, к тому же – а это было ясно всем, кроме Юны, – совершенно никчемную. На следующий день за завтраком Клемент колбасится вовсю: за кофе сыплет шутками, придвинув лицо к Кристине, провозглашает «Сокрушим растленную республику» визгливым фальцетом, пока та не ударяется в рев.

– Что бы тебе не увезти ее погулять, а, Юн? Поганка и мертвого подымет!



– Мэри сказала – не раньше трех.

Ī adāāā n ai āēēēēā Ēādēēēi Āāāi āēēēēē

Ī ēēēē : āi ēā ēēēēēō

[1] Имеются в виду стихи Катулла, обращенные к его возлюбленной Лесбии: «Дай же тысячу сто мне поцелуев, / Снова тысячу дай и снова сотню... / А когда мы дойдем до многих тысяч, / Перепутаем счет, чтоб мы не знали, / Чтобы сглазить не мог нас злой завистник, зная, сколько мы с тобой целовались». Пер. С. Шервинского. – Здесь и далее примеч. перев.

[2] Роджер Ашам (1515–1568) – английский ученый и педагог. Знаток античности. Наставник Елизаветы Первой.

[3] Книга Маргарет Мид (1901–1978), американского антрополога и этнолога. М. Мид занималась исследованием взаимосвязей между культурой общества и психологией личности.

[4] Объединенная теологическая семинария – межконфессиональное высшее теологическое учебное заведение в Нью-Йорке. Основана протестантами в 1836 году.

[5] Йельская школа права – одна из лучших последипломных профессиональных школ в США. Основана в 1824 году. Входит в состав Йельского университета.

[6] Акт 11, сцена 4. Пер. Б. Пастернака.

[7] «Опера нищих» (1728) – комическая опера английского поэта и драматурга Джона Гея (1685–1732).

[8] Эрнест Джонс, «Жизнь и труды Зигмунда Фрейда» (1953–1957) – фундаментальное жизнеописание З. Фрейда в трех томах.

[9] Кристмас Хамфри, «Общедоступный словарь буддизма».

[10] «Мемуары страны Гекаты» – книга Эдмунда Уилсона (1895–1972), влиятельного американского критика. Рассказы о жизни богатой нью-йоркской интеллигенции.

[11] Вулворт – сеть фирменных магазинов, торгующих товарами широкого потребления по низким ценам.

[12] «Микадо» (1885) – популярная в Англии комическая опера У.Ш. Гилберта (либретто), А. Салливана (музыка).

[13] Кешель – тематический каталог произведений Моцарта. Назван по имени его первого составителя Людвиг фон Кешеля (1862). Впоследствии неоднократно обновлялся и переиздавался.

[14] Джон Ливингстон Лоуз – американский профессор, литературовед. В книге «Путь в Ксанаду» (1927) Лоуз подробнейшим образом исследует творчество английского поэта С. Кольриджа (1772–1832).

[15] Пауль Иоханнес Тиллих (1886–1965) – немецко-американский протестантский философ и крупнейший теолог своего времени. Первым из профессоров-неевреев был отстранен нацистами от преподавания. В 1933 году уехал в США.

[16] Лорд Главный Палач – персонаж оперы «Микадо».

[17] Персонаж оперы «Микадо».

[18] «Дорога в Мандалей» – стихотворение Р. Киплинга.

[19] Нельсон Эдди (1901–1967) – американский певец и киноактер, в основном играл в слащавых опереттах.

[20] Кристина – благородная, жертвенная героиня романа американского писателя Генри Джеймса «Княгиня Казамассима» (1886).

[21] Представители гностицизма, религиозно-дуалистического учения поздней античности (I–V века). Гностицизм притязал на «истинное» знание о Б-ге и конечных тайнах мироздания.

[22] Павел – первоначально ярый гонитель христиан – направлялся в Дамаск, чтобы преследовать членов христианской общины, но на пути в Дамаск ему было чудесное видение света с неба, после чего он стал ревностным проповедником христианства, «апостолом язычников».

[23] «Дунсиада» – сатирическая поэма Александра Попа (1688–1744), в которой он высмеял своих литературных противников и литературные нравы своего времени.

[24] Мартин (Мордехай) Бубер (1878–1965) – еврейский религиозный философ, близкий к экзистенциализму.

[25] Рейнхольд Нибур (1892–1971) – американский протестантский теолог, представитель диалектической теологии.

[26] Рудольф Бультман (1884–1976) – немецкий протестантский теолог, философ и историк религии.

[27] Карл Ясперс (1883–1969) – немецкий философ-экзистенциалист и психиатр.

[28] Серен Кьеркегор (1813–1855) – датски